

Приложение к журналу

БЕРЛИН. ДЕРЕГА

зима / 2019



Абдулаева	Кофман
Аросев	Кремчуков
Бендицкий	Кричевская
Берг	Крутова
Биравуд-Хеджер	Лапина
Вачедин	Мутиг
Винокурова	Пекер
Гусейнова	Перепелица
Евдаева	Сафронова
Заяц	Спектор
Злобинский	Федоровская
Иноземцева	Фивег
Кашеваров	Харисов
Кириченко	Хорн
Китайцев	Цирулева
Кляйм	Шапиро
Колкутина	Шевцова
Колкутина	Шлейхер
Королева	Шульман



Содержание

АНАСТАСИЯ ВИНОКУРОВА , стихи.....	3
ЕЛЕНА ИНОЗЕМЦЕВА , стихи.....	7
ДМИТРИЙ ВАЧЕДИН , „Охотник на оленей“, рассказ.....	12
ГРИГОРИЙ КОФМАН , поэма.....	19
БОРИС ШАПИРО , стихи.....	23
ДАНИИЛ БЕНДИЦКИЙ , «Шорох плоти», рассказ.....	25
КУРТ ТУХОЛЬСКИ , стихотворение „Несчастливая женщина“ в переводе Елены Королевой.....	36
Песни ВИКТОРА ЦОЯ , АЛЕКСАНДРА ДОЛЬСКОГО , ЮРИЯ ВИЗБОРА , ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО , БУЛАТА ОКУДЖАВЫ , КОНСТАНТИНА НИКОЛЬСКОГО , БОРИСА ГРЕБЕНЩИКОВА в переводах Франка Фивега.....	37
ВЕРА КОЛКУТИНА , Оскар-2019, мини-обзор.....	44
ОЛЬГА ФЕДОРОВСКАЯ , «Жуковский и Германия», статья.....	45
МАРИЯ ЦИРУЛЕВА , «Песок на полу», рассказ.....	50
КЕРИМ МУТИГ , стихи.....	55
ВЛАДИМИР СПЕКТОР , стихи.....	57
ЮРИЙ БЕРГ , стихи.....	59
ИЛЬДАР ХАРИСОВ , «Нежной строкой в январе», статья.....	60
ВЛАДИМИР Р. FIŞO ПЕРЕПЕЛИЦА , ОЛЬГА КЛЯЙМ , МАЙЯ БИРДВУД-ХЕДЖЕР , НЕЛЛИ ШУЛЬМАН , МАКСИМ КАШЕВАРОВ , МАРИЯ ЕВДАЕВА , МИХАИЛ ШЛЕЙХЕР , ЮЛИЯ АБДУЛАЕВА , МАША КРИЧЕВСКАЯ , ЛЕОНИД ЗЛОБИНСКИЙ , МАРИЯ ШЕВЦОВА , ЕЛЕНА КОРОЛЕВА , МАРИЯ ПЕКЕР , ОЛЬГА ХОРН , ЕВДОКИЯ ЛАПИНА , ВИКТОРИЯ КИРИЧЕНКО , МАКСИМ КИТАЙЦЕВ , ЭЛЬМИРА ГУСЕЙНОВА , АРТЁМ «ЯВАС» ЗАЯЦ , ОЛЬГА ФЕДОРОВСКАЯ , ВАЛЕРИЯ КРУТОВА , ВЕРА КОЛКУТИНА , ГРИГОРИЙ АРОСЕВ , ЕЛЕНА САФРОНОВА , ЕВГЕНИЙ КРЕМЧУКОВ , «Маскарад», коллективный рассказ 25 авторов.....	62

Редакция журнала:

Главный редактор: **Григорий Аросев**
Проза: **Дмитрий Вачедин**
Кино: **Вера Колкутина**
PR, соцсети: **Юлия Лебедева**

Поэзия: **Женя Маркова**
Переводы: **Эдуард Лурье**
Вёрстка: **Мария Аросева**

Анастасия Винокурова

* * *

Если зовут по имени — жди беды.
Значит, дела в королевстве совсем худы.
Значит, все прежние проблески гнусной прозы
Были бирюльки, а это — уже серьёзно.

Значит, сиди и смотри говорящим в рот,
Думай о том, что Карнеги безбожно врёт:
Имя не дар, а война, что давно назрела.
Лишь подготовка к будущему расстрелу.

Значит, заказывай жирного каплуна:
Завтра спадёт последняя пелена.
Тягостный сон и подлинное злосчастье —
Всё начинается с тихого: «Знаешь, Настя...»

* * *

А может, опять уедем? А вдруг поможет?
Разгоним усталость, впившуюся под кожу,
Раздарим улыбки — кто бы ни попросил.
Канада? Исландия? Где мы ещё не жили?
Я долго себя считала девятижильной —
Чудно, что теперь ни на что не хватает сил.

Уедем, пока не стали для всех обузой,
Туда, где ещё существуют мечты и музыки.
(...Мой Нюрнберг зубодробительно неуклюж...)
В пустыню. На север. Хотя бы на берег Рейна.
Я буду его рифмовать со своей мигренью.
Ты будешь цвести, впечатляя соседских клуш.

Нет милости большей, чем просто смотреть на небо,
Держать твою руку и принимать плацебо —
Забывтые сны, перетёртые в порошок.
Не верить, привыкнув к гонке без передыху,
Всерьёз удивляться: как же светло и тихо.
Так тихо, что практически хорошо.

Эвридика

В безупречно белом моём аду
Заблудился сам, но кричал: «Найду!
На край света за руку отведу...» —
И не думал слышать,
Как на мир спустился тревожный дым,
Лейтмотивы рухнули к духовым.
Драгоценный мой, уходи к живым,
Мы не станем ближе.

Ведь куда бы я ни пошла с тобой,
У меня внутри — только ночь да боль.
Я вот это всё заберу с собой
До последней капли.
Как проснётся тьма — ни вздохнуть, ни встать.
И опять треклятые двадцать пять:
Ты стремглав помчишься меня спасать —
На стальные грабли.

В гробовой тиши непростой почин:
Перерой десятки моих личин,
Миллион обидных найди причин —
Лишь бы сам поверил.
Лишь бы бросил мыкаться в пустоте,
Где любая музыка — просто тень.
Драгоценный мой, я не ем людей.
Уходи скорее.

В безупречно белой моей тюрьме
Неизбежно время идёт к зиме.
На пятьсот восьмом черновом письме
Примиряюсь с небом.
Нет гонцов — с другой стороны воды.
И вокруг встают, обжигая, льды.
И молчит гобой. И твои следы
Заметает снегом.

Клуб неудачников

Говорили тебе: держись, чтоб не вылететь на ухабах.
 Этот мир ненавидит старых, больных и слабых.
 Сможешь краю свою осыпать брильянтами и мехами,
 если будешь вести себя правильно, а не дружить с лохами.
 Неудачи заразны похлеще свиного гриппа:
 зазеваешься — сам превратишься в жалкого типа,
 не успеешь моргнуть — окажешься в чёрных списках,
 на парсеки вокруг не найдёшь ни друзей, ни близких.

Так броди, прокажённый, по краю внезапной бездны,
 вспоминай, как слова бессмысленны и помпезны.
 Как хоронят при жизни, глаза отводя стыдливо:
 видно, в помыслы привносил недостаточно позитива —
 потому проиграл. Все упрёки привычно едки.
 Так порой не хватает какой-нибудь тайной метки —
 (...разноцветных шнурков, синей ящерицы на предплечье...) —
 символического билета на место встречи
 сбитых лётчиков, упустивших последние шансы.
 «Добрый вечер! Меня зовут Виктор — и я облажался».
 «Здравствуй, Виктор!» — сочувственно эхо бежит по залу.
 Победителей нет — это то, что нас всех связало.
 Здесь ты можешь кричать: жизнь такая сука местами!
 Уважая свободный выбор, никто не станет
 осуждать и советовать, что тебе делать с нею.

Но взгляни на меня: даже я удержалась — а ты сильнее.

Reticenda

Я не дам трепать твоё имя ни ветру, ни людям
 в белоснежных пальто, ни себе в отсутствии света.
 Всё действительно важное сказано. Если будем
 живы — однажды пройдёт и это.

Абберрации памяти — циклиться и мусолить,
 как финальное слово изранено и жестоко.
 Галилейское море наполнилось горькой солью.
 В этот раз мой спаситель едва ли придёт с востока.

На вакантное сердце объявлена распродажа,
мир привычных понятий меняется в одночасье.
Непреложна лишь стайка банальностей: даже
если счастье ушло — всё равно это было счастье.

Помнишь, в детстве бусины с лепестками
зарывали в песок, называли своим «секретом»?
Ненароком стеклянного шара коснись руками —
серебристые хлопья взметнутся над Назаретом.

Елена Иноземцева

Всё будет хорошо на этом свете

* * *

Так выйти из комнаты трудно,
и даже не знаешь, зачем.

Мобилка, подземка, маршрутка,
тяжелая связка ключей.

А улица, словно верёвка,
потянет тебя за собой:
маршрутка, киоск, остановка...
И близкою пахнет зимой.

Протиснешься боком, неловко,
и смотришь, как будто в кино:
маршрутка, киоск, остановка,
небес золотых полотно.

На девушку — жемчуг, и веер,
и шлейф дорогих сигарет —
не выпавшись, смотрит Вермеер,
в шотландский закутавшись плед.

А люди — кто в думе, кто в дурке,
а кто — в летаргическом сне.

и звёзды умрут, как окурки,
упав на коричневый снег.

* * *

вот рута, говоришь, а вот шалфей...
налей мне чаю терпкого, налей
в стакан с японской трещинкой по краю,
а может, просто в чашку голубую
без трещинок... здесь снова ветры дуют,

и как уснуть с такими-то ветрами.
 вот рута... за бессонными ночами
 живут дома, пронизаны печалью,
 как сквозняками: кухня, коридор...
 там варят чай с душицею и мятой,
 в нём есть ещё какой-то привкус вмятый,
 и на столе лежат карандаши,
 тетрадь, свет лампы, ароматы чая —
 в нём зверобой и нотка молочая,
 календула, и прочий летний сбор.
 и только рута, горестная рута —
 о ком она? влилась в чужое утро...
 о ком уже не вспомнить почему-то?
 о ком она? — пожалуйста, скажи

* * *

Купить хурмы и мандаринов
 и слушать слушать первый снег:
 как он скрипит под сапогами
 прохожих, как лежит тихонько
 на крышах и на проводах,
 как он кружит-кружит-летает
 под жёлтым взглядом фонаря...
 Ты подыши на эту память —
 проделай дырочку в ледышке,
 смотри-смотри в себя, как в космос,
 в котором снег замёл все звёзды.

Что ты там видишь? — Ничего...

You're in the army now

они говорят мне:
 пора отправляться
 они называют мне пункт назначения

нет нет — говорю я:
 в дремучие дебри

в лесах Амазонки
честнее и чище
отправьте меня — говорю я — к индейцам
к счастливым Пираха
не знающим чисел

но матери смотрят в молчаньи суровом
пора уходить — говорят мне их взгляды —
пора отдавать нам долги: мы рожали
в кровавом мученьи
и смерть была рядом

нет нет — говорю я:
отправьте в пустыню
босым на горячий песок
власяницу
набросьте на плечи
и хлеб отберите
оставьте лишь воду
и долгие годы
под жалящим солнцем
в пустыню — в молитву

пора — говорят мне отцы —
отправляйся
в пустыню
откуда не все возвратились
к камням и домам извергающим пламя
и к дымным глазницам покинутых окон
когда ты вернёшься
ты станешь таким же:
суровым и сильным
и мёртвым и мёртвым

нет нет — говорю я:
топор мне не нужен
и нож мне не нужен
и меч мне не нужен
и стрелы, и лук, и ружьё не нужны мне
в рюкзак за спиной

не поместится бомба
верните мне в руки букетик сирени
который сорвал по дороге к любимой

пора — говорят мне они — отправляться...

* * *

Все хорошо,
Никто не прилетит:
Ни марсиане, ни юпитеряне,
Ни жители совсем иных галактик
На чёрных кораблях без парусов.
Под парусами белыми эскадра
Не подойдёт однажды к побережью,
Не высадутся воины на берег
В доспехах, с ружьями и перегаром рома.
Всё будет хорошо...
Не запылают
Костры по городам чумной Европы,
Останутся целы библиотеки,
А также Хиросима с Нагасаки.
Всё будет хорошо на этом свете —
Не вымерли бы только динозавры...

* * *

ты смотришь туда где ты был молодым
а годы — что воды... так много воды
и всё утечёт в мировой океан
а может и дальше в моря марсиан
а может и вовсе в иные миры
с другой стороны нашей чёрной дыры

* * *

(пиратская колыбельная)

Какие ветры скажут, как мне быть..
Куда, в какую сторону мне плыть?

Где золото рассыпано по дну,
а где найду жемчужину одну,
но стоящую целых городов..
В одном из захолустнейших портов

корабль мой опустит паруса.
Мне будут сниться реки и леса,

забытые, покинутые мной —
всё ради той жемчужины одной.

* * *

ты помнишь кетчуп с майонезом?
сосиска стыла на морозе
и Северянина поэзы
в условиях житейской прозы

мы были словно Робинзоны
наш зимний город точно остров
как нелегко дышать озоном
двадцатилетним — в девяностых

над привокзальной толкучкой
спят летаргически высотки
прогульщики могучей кучкой
идут за водкой

где это всё где слёзы-розы
Агата Кристи Цой Алиса..
остался только зимний воздух
холодный чистый

Дмитрий Вачедин

Охотник на оленей

После смерти он несколько минут пчелой кружился вокруг тела, вылетел в коридор — соседка как раз входила к себе, уже вытащила связку ключей, звяшущую, как маленькая колокольня. Он последовал за ней в её квартиру, проскочил насквозь две комнаты, вылетел в окно и, испугавшись высоты, вернулся к себе же домой через открытую дверь балкона. Тело по-прежнему лежало на полу, лицо после падения с дивана уткнулось в пыльный жёлтый палас — сколько уже не пылесосил? — зазвонил телефон, и представилось на минуту, что человек на полу медленно поднимается и, пошатываясь, протягивает руку к трубке. К его облегчению, этого не произошло. Тело лежало на полу и жевало жёлтый палас (так казалось сверху). Новизна состояния уже не развлекала, за минуту до того, как стало бы по-настоящему скучно, он моргнул (ощущение было именно таким), и декорация сменилась.

Теперь он стоял в очереди, в своём обычном теле (будто бутылка, заткнутая пробкой), слушались и ноги и руки, внезапно он ощутил, насколько горячо человеческое тело, вроде как каждый таскает по холодному миру закрытую полотенцем кастрюлю с борщом. Впереди стояли трое — две девушки в мини-юбках, судя по их виду, смеялись (слышно ничего не было), их ножки были упрятаны в сапоги, участок голого тела между сапогами и юбкой, прикрытый сетчатыми, полупрозрачными колготками, казалось, сообщал именно ему что-то важное, и вот уже завязался разговор, его тело начало общаться с ножками, не обращая внимания на их хозяек — ты один можешь нас спасти, Ваня, спасти и оценить. Ещё был хмурый мужик в футболке с надписью BOSS, он как раз платил в кассу, искоса поглядывая на девушек с видом, как будто решал в уме математический ребус. На деньги, которые его рука протягивала кассирше, он не смотрел. Оставив сдачу лежать на блюдечке, мужик медленно, как броненосец, ушёл вперёд.

Иван (так звали воскресшего) спохватился, проверил карманы и вытащил купюру в пятьдесят евро. Пиджак, в котором он нашёл деньги — чёрный и, похоже, отличный — он видел в первый раз, рубашка была, кажется, его, джинсы точно принадлежали ему. Откуда-то раздался звук бубна, и через Ивана тут же прошла волна музыки и человеческих голосов, говорили по-русски — девушки достали свои пушистые, покрытые мехом, кошелёчки, Иван вспомнил о паласе, закашлял, закрывая рот рукой. На ладони остался жёлтый шерстяной комочек.

— Света, у тебя два евро есть?

Девушки прошли дальше, Иван сунул купюру в окошко кассы и хрипло закричал им вследа: «Девушки, постойте!» Кассирша спросила, сколько ему — один, конечно, один — девушки остановились, одна решила, что поняла ситуацию и тянула свою подругу вглубь коридора. Забрав сдачу, Иван рванул к ним, но над его ухом кто-то твёрдо сказал: «Не спеши, догонишь», пришлось разворачиваться и поднимать руки — его обыскивала охрана. Свету с подругой он догнал в самом конце коридора.

— Девушки, постойте, я не уверен, что потом вас найду, я стоял там в очереди и мне показалось, что нам нужно познакомиться.

— Вот именно. Тебе показалось. — Эта Света похожа была на молодое дерево, о чём я никак не мог сказать ей, на осину или берёзу, а может на здание в Барселоне, в котором колонны были как её завитые локоны, я могу поклясться, что то здание стояло на каблуках.

— После того, как я пробежал за вами километр по коридору, я стал абсолютно уверен.

— Ты потом к нам подойди, хорошо?! — Вторая, та, что молчала, была другой, оленьего типа, вроде бемби, у неё было лицо цвета смуглой луны — луна, конечно же, китаянка, а вот если бы она была индианкой, получилось бы похоже. Я смотрю на девчонок и подбираю сравнения как древний персидский поэт, а ведь я, похоже, уже умер. Девушки ушли, сзади кто-то тронул моё плечо.

— Для вас зарезервирован столик, — официант смотрел на меня без всякого выражения, — пойдёмте, я вас провожу.

Я повернул голову к столикам и узнал это место — русское танцевальное кафе недалеко от Майнца, я был здесь только один раз, уже и не вспомнить в какой компании, дыра, конечно, провинциальный дом культуры, вбитый в аккуратный немецкий зал. «И снова седая ночь, и только ей доверяю я», — пропел полный тоски голос. Это, скорее, ад, чем что-то другое. Я поплёлся за официантом.

Прошли мы всего ничего, столик был похож на купе в поезде дальнего следования, одним боком он примыкал к бортику, за которым помещалась овальная, похожая на каток, танцплощадка. За столиком сидела девушка и пила пиво. Когда официант указал мне на него, и я в недоумении остановился, девушка встала и ударила меня по лицу ладонью. Потом поцеловала в губы. У меня закружилась голова, я сел. Официант спросил, будем ли мы что-нибудь заказывать, затем, постояв немного в молчании, удалился.

Больше всего меня удивило не то, что я умер — я давно предчувствовал смерть, а та чехарда, которая началась после неё. Жизнь была, в общем-то, удачной и глупой, а в последней трети даже сознательно глупой, событий, которые могли бы меня удивить или вырвать из того оцепенения, в котором я жил последние годы, ждать не приходилось. Мне было тридцать пять. Со

времени школьного обследования в девятом классе врачи говорили моей маме, что я могу умереть молодым, через пару лет о смертельном пороке сердца узнал и я — об этом мне сообщил дядя в припадке похмельной откровенности. Я тогда шёл домой и думал — как же она уже столько лет знает, и не показывает вида, не плачет ночами — ей что, всё равно?

— Извините, — сказал я девушке, ударившей меня — она по-прежнему сидела напротив и, молча, улыбалась, — я вас чем-то обидел?

— На обиженных воду возят, Ванечка.

Её тон был развязным, каждое слово она выделяла новой интонацией, они скользили, словно рыбы, подплывали ближе и кусали мои руки. Каждым словом она пытается уколоть. Сколько ей лет? Чуть постарше меня, несвежая, изломанная, изогнутая, впалые глаза, губы чересчур, по-обезьяньи, подвижны, кажется, она не может управлять их движениями, самодовольная улыбка вызывает к жизни страдальческие морщины. Усталые глаза, над ними длинные пушистые ресницы — у какой куклы ты содрала их, Анжела?

Я узнал её. В последний раз мы виделись лет двенадцать назад.

— Почему ты меня ударила?

— А как мне жилось, Ванечка? Как только ты меня бросил, я поплакала, а потом, — она говорила очень медленно, — начала встречаться с одним мужчиной с Кавказа, он однажды загнал меня под стол и держал там всю ночь. Подходил к столу, садился и будто невзначай дёргал ногами, а тогда у меня везде было мягко, потом пришли его друзья, а я там внизу прикуривала им сигареты и ещё кое-что прикуривала...

— Но я-то сейчас умер? — Мне не хотелось слушать, я не был виноват ни в её дальнейших несчастьях, ни в нашем разрыве. У меня не получилось обеспечить ей такую жизнь, какую ей хотелось вести, кажется, в этом было всё дело. К тому времени кавказец уже появился, были и рестораны и розы — от поклонников, говорила она, не объясняя. А я не решался требовать подробностей, всё и так летело чёрт-те знает куда.

— ...а потом сбежала от него и устроилась в ювелирный магазин, у меня была подружка, мы играли с ней в Маргариту, которая с мастером — это когда бриллианты на голое тело. Там директор устраивал закрытые показы, но не думай, я ни с кем не спала из-за денег или побрякушек этих, большая часть камешков была просто меня недостойна, а те, что были достойны, я и так получила со временем...

Бемби с испанкой выскочили танцевать — первые во всей дискотеке, встали друг напротив друга и положили сумочки на пол у своих сапожек, они были так молоды, что у них было всего одно движение бёдрами на секс и на танец, уже сейчас я мог точно сказать, как они ведут себя в постели. Тут же к ним присоединился парень в чрезмерно длинной футболке, он растопырил

руки, изогнул тело треугольником и двинулся на девушек, как будто намеревался схватить их в охапку. Не дойдя одного шага до бемби, он развернулся и пошёл обратно, разглядывая моих красавиц. Затем начал свой танец сначала. Надо было действовать, и я готовился перепрыгнуть через бортик, чтобы не слушать Анжелу, если это сон, так пусть это будет сон приятный, если это последнее свидание перед отправлением дальше, так Анжела не входит в число лиц, с которыми мне приятно было бы увидеться, прощаясь с жизнью.

— ...знаешь, я и тебя видела — когда ты улетал в Германию. Я как раз возвращалась из первой поездки в Турцию, вся под впечатлением от звёздного неба и ночей с Ахметом, знаешь, такой накачанный, кубики на животе, и, такое чувство, что шерстью покрыт, как войлок, ну ты понимаешь, а тут ты в аэропорту — неуклюжий, растерянный, куртка у тебя смешная была, рыжая, очки — аспирант, бо-та-ник. Ты с мамой стоял, а она завязывала тебе шнурки каким-то особым узлом, а я сверху смотрю, курю «Парламент лайт» и кожа у меня ещё пахнет солью, ну и, ты понимаешь, мускусом что ли, от его тела, в общем...

— Поздравляю, — сказал я и перемахнул через бортик. На танцплощадке было уже человек десять. К бемби и испанке прибавилась ещё одна девушка в полосатой кофточке, пониже ростом, прыгучая как резиновый мячик. А вокруг дёргались уже четыре парня, заводилой был тот самый, скрюченный, он обнимал испанку сзади за талию, она позволяла ему сделать с ней пару движений в одном ритме, после чего уходила вбок. Тогда он медленно и сонно перемещался на новое место и повторял манёвр, при этом руки его чувствовали себя всё более свободно на её теле. Я не мог допустить, чтобы он своими ладонями метил её территорию и направился прямо к ним. В это время кто-то сзади дотронулся до моего плеча.

— У нас через ограждения не прыгают.

— Что?

— Через бортик не прыгай в следующий раз, вот обход. — Хмурый человек в пиджаке показал мне пальцем на место, где бортик прерывался.

— Хорошо.

— У тебя последнее свидание, я бы на твоём месте не тратил время на ерунду.

— Что?

— На ерунду время не трать, тебя скоро заберут.

— Кто? — я стоял и думал — сумасшедший дом, если я умер, то произошла накладка, такого последнего свидания мне не нужно, давайте, что там у вас — рай или ад. Уберите только Анжелу и весь этот сарай с безмозглой музыкой.

— Заберут и всё. — Человек отошёл, в это время начался медленный танец. Я ринулся к бемби, но она была уже занята — танцевала со скрюченным уркой, испанку подхватил его такой же уродливый приятель. Свободной остава-

лась одна лишь полосатая, я отправился к ней, но дорогу мне загородила Анжела, в пальцах она зажимала две рюмки водки, я не сумел вовремя остановиться, толкнул её, немного жидкости пролилось на меня. Вот кто я — мертвец, пахнувший водкой. Нога Анжелы во время столкновения оказалась у меня между ног и начала тереться — где-то там, внизу.

— Ну-ка, — сказала она. Мы выпили, она, не выпуская меня, попросила поставить рюмки на бортик, а когда я обернулся, она уже извивалась под моими руками.

— Анжела, — сказал я, кажется, я был готов к серьёзному разговору, — ты что, меня как-то особенно любила? Почему мы встретились с тобой тут, как думаешь?

Она выслушала меня, подождала пару секунд и рассмеялась — громко, заливисто и ненатурально. Кукла. Потом притянула к себе мою голову и начала подпевать певцу — тихонько, и прямо в моё ухо, что-то про девочку, мальчика и судьбу-разлучницу. Затем она укусила меня за мочку уха, и тут же впилась в губы.

Кажется, был октябрь, самый чёрный месяц в году, и я — студент второго курса, и во второй раз в жизни подхожу к «взрослой женщине» — наглый, проницательный, робкий зайчишка. Ты меня тогда раскусила ещё до того, как я успел что-то произнести, но я был свеж, свежей твоих бандитов, я был — курточка на вырост. «Ну что, мальчик, приходи ко мне в четверг, посмотрим, на что ты годишься». Годился я не на многое, но то, на что годился, исполнял старательно, сил не берёг, и денег не берёг — их у меня не было. Полгода продолжалась «четверговая пора» в твоей коммуналке, я шёл с твоим соседом-алкоголиком и знал, кто и когда приходит к тебе в другие дни. Он, пока не продал магнитофон, так даже записывал твои стоны на кассеты — сколько лет жизни стоило мне их прослушать, кто сосчитает, кто видел, как я по полу валялся от боли. Ты с одним, в перерыве Женя Белоусов, потом ты с другим. Я зубами в тебя вцепился, приходил во вторник и в среду, сидел на кухне на старой табуретке и смотрел, как ты открываешь дверь любовникам. «А это кто?» — «А это к соседу племянник приехал». — «А чего смотрит так племянник? Поучить его?» — «Что ты, что ты, мальчик из деревни, людей не видел». И вот они перестали ходить, обмелел ручеёк, а я в исследовательской группе — самым младшим — а дальше мы получаем западный грант. И вот мы вместе — «официально» — ты же этого хотел, шептала ты, чтобы я была только твоей — смотри, мальчик, добился, молодец, упорный, хочешь, ударь меня за то, что я была такой нехорошей. Теперь всё будет по-другому.

По-другому продолжалось несколько месяцев, скоро закончились деньги, а дома сидеть ты не умела — тебе хотелось «погулять», собрать крохи красивой жизни, как уборщица в столовой сметает грязной тряпкой со столов. Я робко звал тебя в парки, в монастырь за городом, в лес на игры к моим прия-

телям-толкиннистам. Смешно. Я даже не помню, как всё закончилось. Анжела-Галадриэль. Оборвав танец на середине, я ушёл к барной стойке и заказал ещё водки.

Пока я ждал, кто-то подсел справа. Я наклонил голову — это была бемби, мой оленёнок, одна, нежная, сияющая, наполовину прозрачная, она хотела что-то заказать, в нетерпении била копытцем о пол — мне принесли водку, и я вышел — если смотреть боковым зрением, то кажется, что справа переливается нитка жемчуга.

— Так ты ничего не добьёшься, — сказал я ей, после чего научил подзывать к себе бармена — искусство, которому научил меня приятель-швейцарец. Когда я говорил ей что-то на ухо, она сначала просто улыбалась, отклоняя голову, и лишь затем находила слова для ответа.

— Мохито изобрели на Кубе во времена пиратов, — в руках мы уже держали два зелёных стакана, море в них размывало ледяные домики, — тогда мята, сахар и лайм перебивали мерзкий вкус дешёвого рома. Давай выпьем за сокровища, которые можно найти в самых неожиданных местах.

— Ну что, уже нашёл себе соску? — Анжела практически легла на моё левое плечо, ноги её почти не держали. Чуть поодаль стоял пузатый молодой парень, смотрел на нас и размышлял, насколько недовольный взгляд он может позволить себе в этой ситуации.

— Я от него ребёнка хотела! — обратилась она к испуганной бемби, ткнув меня острым пальцем. — Десять лет назад. Такого маленького, умного, кучерявого. Он бы уже из меня в очках вышел. Как папа. Это сейчас он на линзы перешёл — малолеток цеплять. А сейчас от того хочу! — Она показала пальцем на толстяка.

С меня было довольно.

— Анжела, ты не хочешь присоединиться к своему молодому человеку?

— Что? Стыдно? Стыдно перед шляпкой этой? — Анжела говорила громко, слишком громко, почти кричала. — Что? Стыдно, что любил меня? Старая стала, да? Некрасивая? Пьяная? Блядь древняя, да? Стыдно, что называл меня этой... готичной богиней? Думаешь, не помню?

Античной, — подумал я. — Идиот. В этот момент сбежала бемби.

— Не гожусь для тебя, правда, Ванечка? Ни грудь, ни попа не годятся, да? А зажмурившись? А лицо закрыв подушкой? Стихи мне не хочешь почитать? А ты прекрасна без извин, да?

Я встал с места и ушёл в туалет. Не хватало воздуха, пол и стены качались и прыгали, певец визжал про белые розы, пахнущие сигаретами и алкоголем белые розы, цветущие в этом гадюшнике, как цвела Анжела, бледные девочки со слабым здоровьем. Вам так трудно сказать «нет». Я стоял и смотрел на мертвеца в зеркале над умывальником. Открылась дверь, и в туалет вошла Анжела,

тащившая за собой толстяка. Проходя мимо, она шлёпнула меня пониже спины и закричала:

— Что заскучал, ковбой? Присоединиться не хочешь?

После этого хлопнула дверь кабинки, они заперлись, оттуда послышались звуки возни.

Господи, почему она? Почему не Полина — Ялта, пустой пляж, в воздух отпускают пакетик с чёрным чаем, ты уползаешь от сумерек, прижимаешься ко мне всё ближе, ещё чернее — и нас уже не разлепить. Почему не Катя — с ней я провёл не меньше времени, чем с Анжелой, мы же были с ней душевно близки, той близостью, которую я никогда не испытывал в отношениях с этой сумасшедшей. Ведь Анжела — это даже не первая моя любовь.

— Ваня, — закричала она из кабинки, — иди сюда! Здесь (громкий выдох) не хватает второго смычка.

Я вышел из туалета, среди столиков и на танцполе было не легче — выносить музыку не было никаких сил. Снова прошёл коридором к кассе, договорился с охраной, что постою, подышну воздухом у входа. На улице шёл дождь, было тихо, потому что природа наводит порядок совершенно бесшумно. Ко мне подошёл мужчина в пиджаке, скандаливший со мной из-за прыжков через бортик.

— Мы посоветались, — сказал он мне, — и решили, что ты можешь идти домой.

— Что? Как?

— Иди домой, такси вызови или попроси кого-нибудь подвезти. Эта история с ковром — отменяется.

Дождь ударил сильнее. Мимо меня, смеясь и накинув куртки на головы, к своей машине пробежали бемби с испанкой. Я догнал их, закричал:

— Девчонки, до Майнца не подбросите? Я заплачú!

Пошептавшись, они согласились. Я сел в машину. Кудри испанки — она была за рулем — сияли кипарисовым сиянием, оленёнок притих от усталости и каких-то томных предчувствий. Мы уже выезжали, когда я попросил выйти из машины, сказал, что забыл одну штуку. Направился ко входу, обратился к распорядителю:

— А если не уеду домой, что тогда?

— Тогда скоро тебя заберут.

Я остался, и через полчаса меня забрали. 

Григорий Кофман

БОМЖ, или Поиск предназначенья

Бог определённого места жительства жил
 В городе Н. в трёшке с женой, дочкой и тёщей,
 Работал по-честному, но не напрягая жил.
 Кого-то боялся, во что-то верил. Просил...
 Добавим, пожалуй, тестину мать — так будет проще.

Проще, то есть, замысел реализовать
 О том, как распадаются связи, заряжаются грозы,
 Например, в микросоциуме, а зять
 Без тестя, но с его старой матерью — это козырь!

Он, значит, пахал себе, пахал как мог, как умел.
 Тесть умер лет шесть назад от коллик,
 Тёща, напудренная, как мел,
 Дочь — не красавица, но чудо-пострел,
 Жена, школьный учитель, начинающий алкоголик.

Это препозиция, так сказать.
 Можно вспомнить, что когда-то была и любовь...
 Но есть, что есть: та самая тестина мать... —
 В общем, погнали сюжет: свекровь

Тёщи воевала на трех фронтах:
 С невесткой, её дочерью и правнучкой-грацией,
 Да и те друг с дружкой тоже не ах!
 Мужчина не вписывался в конфронтации.

Важно понять: никто из них не был стервой,
 Он, в свою очередь, ни шут, ни Лир,
 Но что делать, когда у тебя всюю 41-й —
 Это еще не война, но уже и не мир.

Как многие всю жизнь ведут жизнь двойную,
 Он не умел — а не умея, страдал.
 Желая гармонии, болезненно заключал мировую —
 Полувялый такой посредник. И ждал.

Чего? — Он не думал. Он жил фристайлом.
 Так улитка не мыслит: тащить свой дом — как Сизиф?
 Так играет дельфиний король со стаей,
 Да ни с того ни с сего выбрасывает её на риф.

Это не злой рок, не желание мщенья, —
 Просто нечто следует за тобой как шерп, —
 Оно-то и результирует: поиск предназначенья,
 Как правило, заключается в поиске жертв.

И выбор вовсе не за тобой: быть может,
 Жертвой становишься сам ты.
 Но року не запахло обойтись и строже —
 У него свои подписные листы:

Бля-а-ать! — сперва от упавшей сосули погибла тёща,
 Мягкая женщина, но крутая бровь,
 Стало ещё труднее (казалось, должно было б проще!) —
 И без невестки вскоре загнулась свекровь.

Продали «Ладу», смогли наскрести на «Опель».
 Он, — назовём его Сеней, — обрёл под ногами дно.
 Но тут дочь увлеклась каким-то джампингом-допль —
 В общем, от девушки с другом осталось пятно.

Ему показалось, что что-то случилось ещё до старта.
 Когда не было ни шипов этой жизни, ни роз.
 За жену он сражался с выдумкой и азартом,
 Но она срывалась, и однажды 8-го марта
 Её уконтрапушил жестокий цирроз.

Беспощадность судьбы не имеет знака плюс или минус,
 Может статься, смерти — это, своего рода, дары.
 ...Вот я возьму и бенефициаром прикинусь,
 Срезав поверхность мозговой коры!..

Бегая по инстанциям, по врачам, страховкам,
 Все эти годы Сеня бился, как матадор,
 Пока, наконец, распластавшись неловко
 Посреди своей трёшки, не замыслил вздор:

Бог определенного места жительства — эМЖэ,
 Доведа утраты до внушительного итога,
 Размышляя: достаточно ли потеряно уже,
 Всего, что держит, чтобы взлететь в реального бога.

Он вышел из дома — ну, что может быть банальней —
 (Омыв для начала ноги дорогим вискарём)
 Без идей. Четырёх схоронивший (близких — не дальних!
 Женщин), пульсом иным влеком.

Странствовал, страждущих находил, убогих,
 Помогал безыскусно, без корысти, в общем, тушил.
 Представлялся запросто — Сеней-Богом,
 Один верил, другой прогонял, третий бил.

Но оно работало! Однажды он отказался от зренья —
 Это произошло как бы само, он — не сам!
 Его известность получила распространенье —
 Заговорили, будто слепец творит чудеса.

Слава росла, а он всё ходил безмятежный, в заплатах.
 Со временем святость странника стала пользоваться властью:
 Его лик нарисовался на образках, потом на плакатах —
 Время выборов — на что-то ставить, на что-то класть.

ТиВи, интернет им пытались заняться с толком,
 Но он имел дар растворяться в сети!
 Так продолжалось бы, вероятно, долго,
 Если бы его мама не решила его найти.

Её жизнь была подобна цинковой жести,
 В прошлом школьный учитель, она всего натерпелась вдвойне.
 Прежде мать получала от сына вести,
 Пока ни звонков, ни писем не стало вполне.

Чтобы запустить какие-то механизмы
 По отысканию сына — Хер ли он или Бог! —
 Она собрала остатки воли и жизни,
 И случай однажды ей помог.

Прикинувшись уродливой инвалидки вроде —
Он шёл в своей ясной пронзительной думе —
С мольбой о помощи она попалась ему на повороте.
И, встретив взгляд Матери, бог умер.

Её звали не Мария, не Мария, не Мария!
Он тоже, кажется, был не Семён...
Но она знала свои сухие глаза изнутри, а
Он так и не узнал, кто он.

Борис Шопиро

* * *

Как геральдические львы
хранят невинность гербовую
и знаменуют головы
дорогу в мудрость столбовую,
как по полёту птичьих стай
волхвы погоду предсказуют,
и будет ли любимый край
повергнут в яму гробовую,

и потечёт ли в отчий дом
благословение господне —
всё это станется потом
воспомианьем в преисподней.
Нет, не бессмысленную чушь
оставит жизнь в наследство сходям,
улыбку и надежды луч
вчера и завтра, и сегодня.

* * *

Буне

Воды небесные и воды земные
разъять невозможно,
дымкой покрытые оба голубоватой.
Это ли свет, что родился сегодня от Света?
Эта ли влага была первозданной в Начале?

Эти ли молнии в облаке спали взрывные,
эти ли ветры тревожные
пахнут библейской цитатой, эта ли мысль станет вновь бессловесно
раздетой,
и хмельная душа запоёт о любви и печали?

Как зачали тебя во приделы земные страстные
как венчали со смертью неможной,

дощатой, крутой, глуповатой?
И как жизнью манили небесной, и тою, и этой,
чтобы сходни спустить на простые земные причалы.

Воды небесные, воды земные, голубоватой
дымкой покрытые терпкие, те и другие.

* * *

Диме

Рига, танго, сердцелов,
и на самом деле Рига —
прибалтийская чаплыга —
ноты есть, но нету слов.

Танго — это о любви,
о любви неразделённой,
как цветок неопылённый.
А любовь и не лови.

Танго — нет на танго вето,
руки есть и есть объятья.
Слишком много в сердце света,
слишком мало в чёрном платье.

Платье чёрное темно,
и вокруг темным темно,
и в глазах темным темно,
и в душе темным темно.

Рига, танго, светолов,
не подвластна танго Рига —
как мучительная книга —
есть страницы, но нет слов.

Даниил Бендицкий

Шорох плоти

1.

Мокрые камни, полшестого утра, в февральскую субботу, искрятся лимонными мазками от длинных фонарей.

Он приехал на автобусе и сразу же увидел камни — опустил по привычке голову. Впрочем, это от усталости: всю ночь он ежился на жёстком кресле — не выспался, да и автобус должен был прибыть на час позже.

Спустя минуту спросил каштаноусого водителя, как пройти к вокзалу — водитель молча обогнул что-то в воздухе рукой: сам, мол, ищи.

Он вяло подошёл к карте Брюсселя: белые линии — улицы, оранжевые прямоугольники — здания, зелёные квадраты — парки, голубая полоска — канал.

На любой уличной карте города должно быть обозначение что-то вроде: «Вы находитесь тут». Вот красный кружок: внутри спрятались пересечения белых линий, кусочек оранжевого прямоугольника и продублированное название чёрными буквами: Gare de Bruxeless-Nord/ Station Brussel-Noord.

«Тут, значит», — нашёл.

По широкой лестнице он поднялся на площадку перед большим зданием, дальше увидел тёплый свет за стеклянной стеной. «Это что — вход? Вокруг ни души. Как же хочется ссать! Может, здесь? А если прибежит полиция? Только начнёшь, а сзади — Стоять! Заломают, бросят в обезьянник. Будешь потом сидеть целый день».

За стеклянными дверьми вдруг показался человечек, приблизился — стекло автоматически раздвигается. Мужик подходит к колонне, расстёгивает ширинку, мочится, секунда через двадцать застёгивается и идёт назад.

«Значит вход здесь!»

2.

И я пошёл. В нос тут же ударил приторный запах мочи. «Наверняка все на улицу отливать и ходят: а я-то что торможу?»

Помещение вокзала оказалось скудным: бледные стены, закрытые магазинчики, редкие людишки топчутся.

Побродил устало по зданию. «Сдать бы сумку в камеру хранения, а то тяжело — давит плечо, натирает бедро. Хотя вечером мне нужно на другой вокзал — Midi. Сегодня я еду на Север Франции. На Midi и сдам».

Вскоре нашёл туалет. Перед дверью мусор сложен горкой, швабру на

полу оставила уборщица. Дёрнул за ручку — закрыто. «Ну и где же? Здесь что ли? Не могу терпеть».

Решил, наконец, повернуть назад — на улицу. Когда входил, то, оказывается, не заметил спящих в пёстрых тряпках бомжей. Я бы их сфотографировал, но у меня на телефоне ужасная камера — потом ничего не разобрать.

«Тебя бы ничтожного да неимущего щёлкали на память», — это Отец снимал всех тайком: в Париже, в наше последнее путешествие, нищий шарманщик закрыл ладонью лицо и что-то грозно прорычал.

Я снова вышел на площадку перед вокзалом. «Меня никто здесь не видит?» Приблизился к стене и оставил огромный мокрый след.

По бетонному полу растекалась лужица. «Как же хорошо!»

3.

Перед отъездом мне говорили: «Ну, там знаю брюссельскую капусту, НАТО...» — я же скорее думал о Брейгеле. Ещё в дошкольном возрасте я знал его картины. Мы сидели с Отцом на кровати и разглядывали толстый альбом.

За несколько дней до отъезда я пролистал путеводитель по Брюсселю и составил план — кроме музеев, соборов и прочего — кладбище Лакен. На одном из надгробий сидит копия Роденовского «Мыслителя» — на фотографии голый мужчина придерживает правой рукой подбородок, его бледно-зелёное тело укутывает местная листва. Вот фраза из справочного текста: «Здесь все надгробья — скульптуры».

Первым делом, в эту рань, иду на кладбище.

4.

Он шёл в полной дремоте, темноте, а вдалеке персиковым цветом горел большой прямоугольник — карта Брюсселя — и так каждые триста-четырееста метров. Он снова находил красный кружок среди улиц и зданий, сверял со своим путеводителем, что уже прошёл, вычислял расстояние до кладбища — надеялся сегодня многое посмотреть.

Я забрёл в индустриальный район: слева — канал, справа — фабричные домики, краны. Хочется спать.

Перед сном Отец читал мне что-то ритмичное вслух. В его руках была небольшая книга, обёрнутая в кальку, и он произнёс: «...заводов симметричных» — может гул заводов симметричных, может жужжание. Отец делал ударение на двух последних слогах «ич-ных» — удлинял «и». Я не знал, что такое симметрия. Отец на это как всегда что-то невнятное промямлил, однако я попытался себе представить: «Симметрия — это то, что тянется вдаль, а потом... соприкасается, повторяется... нет, не так».

Лет десять спустя я вновь услышал от него эти слова и спросил: «Кто это написал?» — «Эмиль Верхарн», — тогда я узнал первого бельгийского поэта.

Похоже только сейчас, несмотря на то, что у меня в гимназии углублённый курс математики, только сейчас я понимаю, что такое симметрия, симметрия заводов. Только вот объяснить это тоже не могу.

Вдалеке залаяла собака на привязи — я услышал шелест цепи. Дальше — тушик. «И куда теперь?»

Спортивная сумка сползает с плеча, бьётся о колено. Я разворачиваюсь, иду назад.

5.

Перед продуктовым магазином стоит серый грузовик. Щетинистые арабы вытаскивают из него ящики с овощами и фруктами, друг над другом посмеиваются, никуда особо не торопятся.

Прохожу мимо. На небольшой площади спрашиваю первого прохожего, где вокзал Midi. Очкастый бельгиец по-английски не говорит. Я ткнул пальцем в путеводительскую карту: «Где вокзал?» — бельгиец крутит её, всё ближе к фонарям клонится, и начинает по-французски метлой чесать — быстро, подробно, жестикулируя. Кажется я понял: пройти прямо, потом налево. Мужик показывает на карту метро: лучше доехать, тут всего-то несколько станций. «Да куда мне, я хочу пешком».

На соседнем доме я заметил вывеску «Vermeerisch». Это бар. К утру, он, видимо, закрыт. «А вдруг там работы Яна Дельфтского? Висят на стенах, а многие и не обращают внимания и просто посасывают пиво».

Два года назад мы были в Париже. Отец захотел найти божемный ресторан. «Там картины Шагала», — сказал он. Назывался он, по-моему, «Куполь».

Мы стояли перед входом и смотрели через огромные окна на небольшие картины. Местная элита выпивала да закусывала. А Отец мечтал: «Сам Бог велел выпить чашку кофе в Париже!» — и это с его-то скупостью.

Долго колебались: входить или нет — вероятно по врождённой советской прибитости — стоять будет наверняка дорого, не зайдёшь же тогда просто так.

Так и не вошли.

6.

На перекрёстке сонный божм тарыхтит клетчатой тележкой. Лицо у него раздутое, с бородой, гомеровское. Спрашиваю: «Где вокзал Midi?» Божм отвечает по-фламандски, вперемешку с английским: «Гоу рехьтауг, энд ю си а groot хебау» Я влез с немецким: «Гроссес гебойде?» — «Йа!» Так, значит, большое звание — стало быть, посмотреть невозможно.

Мои расспросы медленно превращаются в фобию, постоянно спрашиваю одно и тот же — надо перестраховаться — а вдруг я не найду, правильно ли вообще иду, точно ли мне показали?

Отец говорил, что это — топографический идиотизм.

Он спрашивал прохожих так: «Сорри... вэа из... эээ...» — а пункт назначения никак не мог выговорить. Он сбивался, начинал заново, произносил по слогам — язык немел. Случайный прохожий с улыбкой мотал головой — в упор не понимал. Тут уже встревал я: повторял нашу цель — прохожий, наконец, соображал и объяснял, как нам пройти.

Сколько раз Отцу приходилось бегать по всем этим амтам¹ и постоянно повторять заученные слова. «И не понимают меня хоть ты тресни!» — жаловался он потом. Впрочем, казалось, он быстро свыкся, и говорил, скорее, шутя — нарочно же, мол, немцы заставляют повторять, издеваются — Отец стерпит.

Роль жертвы — всегда самое то.

7.

Как и на Bruxeless-Nord площадь перед Midī воняет мочой.

Внутренности вокзала оказались огромными. Он с трудом нашёл камеру хранения: автоматические железные ящички. На пяти языках — французском, фламандском, немецком, английском и испанском — все действия расписаны по шажкам, в последовательности: положите вещи в шкафчик, закиньте монеты, закройте дверцу, получите бумажку со штрих-кодом — счастливого вам дня.

Сумка у меня небольшая. Самый маленький ящик стоит два шестьдесят. Смотрю в кошелёк — а монет-то и нет! Нужно менять купюры. Зашёл в магазинчик, там цены: пятьдесят восемь центов, девяносто три. Бельгийский идиотизм! Я придумал комбинацию: купил несколько совершенно ненужных продуктов, чтобы со сдачи два шестьдесят получилось. Сдал сумку.

Когда Отец помогал мне по математике, а я совсем не соображал, то он тревожился: «Что ты так долго думаешь?» Когда же он объяснял в приподнятом настроении, то обязательно спрашивал для закрепления: «Ну, как скажешь — так и будет». А я не знал, что сказать. Мне после этого «Как скажешь — так и будет» казалось, что любой ответ правильный. Я говорил Отцу решение, но оно всегда было неверным. Отец не отчаивался: «Нет, ты смотри», — и объяснял ещё раз.

«С помощью дифференциального исчисления можно вычислить экстремумы функции — её высшие и низшие точки. Как найти границу возможностей? Бывает взлёт (взмахивал рукой), бывает падение (опускал руку вниз). Математика может все эти точки рассчитать — человек не может, но всю жизнь пытается».

Я думал: «Неужели я всё пропустил — выше, ниже в моей новой стране ничего не будет?»

¹ Амт (Amt) — учреждение. (нем.)

8.

Он разглядывал витрины. У туристического агентства — золотой сундук с арабской резьбой, у мебельного магазина — персидские ковры, протёртые до ниток.

Его взгляд останавливался на всём. «Да и как тут пропустишь такое!» Он забывал, куда шёл, с какой целью, к кому — и это мимо всего: наспех проскочил Grand-Place — по периметру площади выстроились в ряд барочные дома с изящными окнами, колоннами, барельефами. Пробежал мимо лежащей бронзовой женщины, которая блестит разводами на ногах, груди, голове — туристы глядят это тело, чтобы вернуться в Брюссель ещё раз. Видел, наконец, писающего мальчика за узорчатой решёткой.

Рядом умилялась испанская молодёжь: «Ах, какой он милый! Ах, какой он хороший!»

9.

Опять спрашиваю дорогу у прохожих. Я перестал верить немецкому путеводителю, да и указатели заводят не туда. Иду наобум.

Позвонил в Лилль. Сказал, что мой поезд отходит в шесть, пусть не волнуются.

Мы только-только приехали с группой немецких туристов в Париж. Гид объявил: «Через три часа встречаемся здесь». Чтобы не забыть, Отец записал на бумажном клочке название улицы. (Где он разглядел синюю табличку с белыми буквами?)

Мы были на холмистом Монпарнасе, возле белоснежного Сакре-Кёр с огромными вытянутыми куполами. Сонные художники тыкали картонки с чистыми листами: «Хотите быстрый портрет?» — все отнекивались.

Наконец, время вышло. Мы спустились в назначенное место. А на табличке — другая улица. Отец тут же занервничал: «А туда ли мы пришли?» — «Да здесь же! Вот те дома, те балконы, рядом магазин, вот метромост», — я всё помнил. «Нет, не то!», — взвизгнул он. Отец, заикаясь, спрашивал у первого прохожего, где Boulevard Ornano (повторял несколько раз) — и ужас, он в двух километрах! «Прямо, потом налево, прямо, потом повернёте ещё раз...»

Отец бежал вперёд. Я спешил за ним, умоляя вернуться, доказывая что-то. Мы возвращались. Отец снова переспрашивал местных: «Где Ornano?» — «Прямо, потом налево...» Мы разворачивались. Так несколько раз: мимо неспешной арабской жизни — восточных продуктов, смуглых женщин в платках, пузатых мужиков.

Я вспомнил о телефоне гида — позвонил, сказал, что мы потерялись. Место встречи оказалось конечно же там, куда мы спустились в самом начале.

«Где ты увидел Ornano? Нет тут ничего!», — кричал я, а за моей спиной гудело: «И всё равно я был прав!» Не мог Отец сдаться — до конца был уверен

в своей правоте.

«Это ж как надо человека довести?» — оправдывался он.

10.

Он смотрел вниз. Хотя это вряд ли от усталости — скорее от задумчивости.

«Что бы мне сейчас сказал Отец? Говорил бы вообще?»

Мы проходили мимо парижского ювелирного магазина, смотрели на сверкающие бирюльки, и вдруг Отец вспомнил «Ожерелье» Мопассана: «Ты не знаешь Мопассана? О, мальчик, да у тебя колоссальные пробелы». Сюжет рассказа такой: женщина попросила у подруги ожерелье на бал. По дороге случайно его потеряла. Работала потом всю жизнь в тяжелейших условиях, чтобы накопить деньги, купить новое и вернуть. Уже дряхлой, на Елисейских полях, она встречает свою подругу — и оказывается: ожерелье было из обыкновенных стекляшек.

Затем мы гуляли на Елисейских полях, и я представил себе, что эта женщина плетётся где-то рядом — я её вижу. Вон та старуха идёт.

Возвращаясь домой через Гамбург, мы остановились возле огромной уличной карты города. Отец искал место, где работал Ганс Касторп. Он тыкал пальцем на квартал возле Эльбы, рассказывал о сигарах «Мария Манчини», спорах Сеттембрини и Нафты, военном штурме трёх тысяч мужчин, после которых могло остаться хотя бы две, когда они дойдут до холмов и деревень. Тогда я едва ли что-то понимал и смотрел надвигающийся палец по карте скорее из вежливости.

Весь мир был, казалось, на расстоянии вытянутой руки.

11.

Он поднимался по широкой лестнице. Между пухлых колон увидел в саду позеленевшие скульптуры. Дальше, на Place Royale, заметил первое людское оживление: со всех сторон выползали шумные туристы.

Здесь, в одном из зданий, находится Veaux-Arts. По размерам — чуть ли не Лувр. По значимости — средний.

И сразу же — какой-то холод.

Вход в музей всегда начинался с вымаливания. Отец держал в руках потрёпанную голубую бумажку — удостоверение безработного — и смущенно говорил у кассы: «Сорри... ай эм... арбайтслос аус дойчланд²». Кассирша мотала головой, с трудом вспоминала английские слова: «Ай донт андерстенд» или «Вот ду ю вонт?»

² Арбайтслос аус дойчланд — безработный из Германии. (нем.)

По привычке я стоял в стороне — стыдился. Отец как нищий просил милости, даже здесь показывал свою убогость.

После нескольких минут страданий его пропускали бесплатно.

Как и в Лувре, дежурная в гардеробе со мной даже не здоровается. Отдаю куртку с рюкзаком — получаю театральный номерок.

Я вошёл медленно, будто поджидал отстающего Отца: «Подожди, — говорит, — я сейчас».

12.

Картины расположены в хронологической последовательности: с тринадцатого века до наших дней.

Сначала тянутся бесконечные библейские мотивы: страдающие лица, сложенные руки, непременно Христос во весь рост — плывёт ввысь — туда.

Как и у всех средневековых художников, у фламандцев было примитивное представление о человеке: головы огромные, туловища маленькие, ручки поджатые. Не люди, а уроды.

Единственное, что гениально в этих картинах — слёзы. Насколько они просты! Бледно-серый мазок подводился снизу тёмным полукругом, на пятне ставилась белая точка (блик).

Слезы застывают на бледной коже и не катятся вниз.

13.

Он нашёл небольшой зал с бордовыми стенами.

Вот и Брейгель.

Из детства запомнилась «Вавилонская башня» — бледно-песочная, недостроенная, с расплывающейся верхушкой в облаках. Я разглядывал рабочих, домики, видел какое-то действие, хотя сюжет особо не понимал. Отец объяснял: «Люди хотели построить башню выше неба. А Бог разгневался и дал каждому человеку отдельный язык, чтобы у них ничего не вышло. Один просит камень, а другой подаёт молоток».

«Вавилонской башни», как и многого другого, в музее не оказалось. Увезли на какую-то выставку.

Я пошёл на другие этажи — к современному искусству. Искал разнообразия, вот и увидел: бельгийский экспрессионизм — пятнистый, яркий, рычащий. Остальное — дурь.

И здесь был Отец. «Где он остановился? Во что вглядывался?» Он стоял в двух-трёх метрах от картин, правая рука на бедре, левой стягивал в пучок рыжую бороду, закидывал голову назад, потом куда-то в бок, щурился, тихонько насвистывал. «О чём он тогда думал? Что видел?»

«Ты смотри...» — сказал бы мне, а сколько не сказал.

14.

В Лувре Отцу кинули пальто. Работник гардероба смотрел на нас презрительно — «как на вошь». Мы были в который раз ошеломлены от парижской грубости или так привыкли к наигранной немецкой вежливости?

Мне и здесь кидают куртку. Я вышел на улицу.

И сразу же свежесть.

Почти напротив музея — Брюссельский парк. Стволы деревьев салатозеленые, к ботинкам прилипает мокрая листва.

Давно хотел отдохнуть. Ни на секунду не останавливался. Сажусь на лавочку. Открываю рюкзак, лезу во внутренний карман. «Так, паспорт на месте». Достая конфетки, шоколадки — в поездках ничего другого есть не могу. Жую и разглядываю путеводительскую карту.

Я не заметил в парке скульптур. Они смешались с людьми и деревьями.

После Лувра мы пошли в Люксембургский сад: искать среди мраморных женщин Марию Стюарт, и нашли её в сизых складках да с приподнятым воротником.

В Люксембургском саду, на той же лавочке что и мы, сидел Бродский: «И ты, Мари, не покладая рук, / стоишь в гирлянде каменных подруг — / французских королей во имя оно / безмолвно, с воробьём на голове». Отец думал, что у неё действительно на голове каменный воробей и, кажется, расстроился.

Вдруг послышался свист. Гуляющая толпа внезапно двинулась на выход. Минут через пять в саду вообще никого не осталось. Как по приказу. Пустота. И только мраморные женщины стояли, вытянувшись. Несколько человек в тёмно-синей форме подошли к нам и грубо сказали, что сад закрывается. «Зачем закрывать? Может, чтобы здесь не было ночью клошаров?»

Мужик в белой куртке с противоположной аллеи оборачивается. Встал и смотрит на меня. А я на него — кто кого пересмотрит. Секунд десять. «Только не бояться, не показывать страх. Уж не сборище ли здесь какой-нибудь шпаны? Вдруг нападут? Здесь, в центре Брюсселя! Зарежут в парке. Полиция не приедет. А если приедет, что им скажешь? На фламандском...»

И я ухожу.

15.

Он шёл на кладбище Лакен — мимо кирх, вылезавших за крышами домов, мимо биржи, похожую на парижскую Grand Opera, мимо театра с красными транспарантами.

«Сколько осталось до поезда?» Достая телефон: «Чёрт, всего два часа».

Я не увижу парка Эгмонта, где вечером подсвечиваются скульптуры, не

зайду в небольшой замок, который на уличной карте обозначен весьма условно, не поем, наконец, на улице Мясников.

Машинально поворачиваю голову в сторону бомжей и слышу русский мат. Один кричит на другого, территорию делит.

«И ведь ещё не хотел уезжать. Сомневался, нужно ли».

В самое весёлое русское время Отец работал в научном центре — деньги, как известно, тогда всем зажимали. Он подрабатывал в газетёнке, сторожем деревянных дверей, чего-то помогал таскать. Ходил в драном тулупе, ел картошку в мундире, которая постоянно припекалась к кастрюльному дну. Если я просил денег, то он нехотя протягивал бледно-зелёную бумажку — десятирублёвку. Она могла быть последней в его кошельке.

Уехали. Тут он размечтался, что «сердце жизнью новою забьётся» — всё убеждал: «Эх, заживём!»

Мы поселились у Балтийского моря. На выходных гуляли по пляжу — так изучали местный ландшафт. Впрочем, вскоре мне надоело, я хотел сидеть дома. Отец уговаривал: «Может, пропшырнёмся?» Я отпирался: «Да ну...» И он ездил один. На целый день. Потом показывал в атласе, сколько прошёл — проводил указательным пальцем вдоль побережья — пятнадцать километров туда, пятнадцать километров обратно.

Где бы мы с ним не были — мы проходили столько же. Рано просыпались, шли в город, приходили под ночь.

Отец уезжал, а я часто думал: «А если он не придёт?» Вот он плывёт и вдруг начинает тонуть — вижу взмах его правой руки, сторовшее тело алого цвета, слышу кашель — дикий, раздражающий, вокруг: бесконечное море, гроза, сизое небо.

Или на него нападут: «Слышь, есть деньги?» — а Отец, ничего не отвечая, пойдёт вперёд. На него налетят сзади, ударят по голове, забьют до смерти.

Завтра я пойду в школу, ещё не узнав, где он остался, мне сообщат всё потом.

Не дождавшись Отца, я ложился, а утром видел его на диване: уткнувшись в стену, он крепко спал.

16.

Он опять шел по индустриальному району: уже справа был канал, слева — фабричные домики, краны.

Под ногами — листва с мусором.

Четыре года назад в Брюсселе проходили гигантские демонстрации. Отец завязался с группой немецких социалистов и уехал. Условие было простым: проводи целый день как хочешь, но как дойдёт до дела — ходи строем, держи флаги и по команде громко кричи.

Вдалеке церковь завешена строительными лесами.

«Кажется, где-то я её видел...» У Отца была такая фотография. Вот церковь оливкового цвета, справа дома — бледно-голубые, лимонные, тут же широкая дорога, по ней гоняют машины с красными фарами. «Отец фотографировал с этого места! Он стоял именно здесь! Вот его следы. Я стою на них».

Сфотографировал на телефон. Подошёл ближе.

Слева от церкви — кладбище Лакен. Дёргаю ворота — закрыто. Рядом белая табличка: «Кладбище работает с десяти до шестнадцати». И для него ещё отдельное время! Смотрю на часы — ровно семнадцать!

Я хотел узнать, как умерших благодарят надгробьями — шёл сюда через весь город. И теперь — ничего не увижу!

Смотрю на вытянутую церковь, на убегающий ввысь шпиль — и хруст в шее.

Захожу. На входе — коробка для пожертвований, столик с молитвенниками, дальше, до алтаря, расставлены деревянные лавки.

Начинается служба. В белоснежных стенах гремит христианское пение.

Отец бы не выдержал. Постоял бы минуту, а потом вылетел: «Как это пошло», — аж сморщился бы.

«Истина, — говорил он, — в реальной жизни, а не в устоявшихся традициях». (Может, реальная жизнь — это нищета, упадок?) «Да кто мне скажет, как жить? С какой стати я должен кого-то слушать?»

Поначалу казалось, что все проблемы он сваливал на Бога — за то, что жизнь не удалась: «Церковь говорит одно, а получается наоборот». Только потом я понял, что Отец ненавидел людей: «Я — людофоб», — всё чаще повторял он.

Когда-то это произошло. То ли ему упомянули о возрасте, то ли о незнании языка — и он сломался: «Меня уже нет». Безработный. Никому не нужный. «Все суки!» — вопил он.

Дальше — только хуже: Отец был болен, жутко болен, болезнь съедала его до конца.

17.

Я вышел из церкви.

Поздно ещё что-то смотреть. Времени осталось совсем немного. Нужно идти на Midt — скоро поезд в Лилль. Сегодня вечером я там точно буду.

В паре километрах отсюда находится стадион Эйзель. Там, в финале кубка чемпионов восемьдесят пятого года, фанаты «Ливерпуля» набросились на фанатов «Ювентуса». В давке погибло тридцать девять человек. Такой вот футбол: приехать поболеть за свою команду и умереть, спрессовавшись друг с другом.

Приехать и умереть.

На стенах палаты висели репродукции пёстрых ландшафтов Августа Маке. Отец молча смотрел мимо всего — в пустоту. Я что-то привозил, но мне говорили, что всё это не нужно, рассказывал последние новости, но он не слушал.

И я приехал в последний раз.

На кровати лежало тело, тянущееся куда-то вдаль. Где я это движение видел? Как в картинах Средневековья — мёртвый Христос всегда летит ввысь, туда — в позе Отца было что-то похожее.

Женщина в белом сказала, что я могу забрать все Отцовские вещи.

Что я говорю? Он же жив! Жив! Ведь перед отъездом он мне молча протянул морковь, сыр, булочки, чтобы я поел в дороге, с сожалением смотрел, что я уезжаю и ничего не говорю.

По дороге к автобусу я всё выбросил в мусорку.

18.

Он шёл по небольшому мостику. Мутная вода канала была усыпана бордово-оранжевыми кляксами: у горизонта, тёмными полосками облаков, солнце разрезалось на части и покидало город. Эти яркие пятна — последнее, что он запомнит о сегодняшнем дне.

Отец фотографировал тысячу закатов, но такого не видел. «А, может, — нет? Может, такие закаты бывают здесь — в Брюсселе? И тогда, несколько лет назад, он его тоже разглядывал? Здесь, на этом мостике, облокотившись на перила».

Те же порезы неба, те же цвета пламени.

Я опустил по привычке голову.

Отец сказал бы мне сейчас: «Почему ты смотришь на землю? Смотри наверх!» 

Kurt Tucholsky

Die arme Frau

Mein Mann? mein dicker Mann, der Dichter?
Du lieber Gott, da seid mir still!
Ein Don Juan? Ein braver, schlichter
Bourgeois — wie Gott ihn haben will.

Da steht in seinen schmalen Büchern,
wieviele Frauen er geküßt;
von seidenen Haaren, seidenen Tüchern,
Begehren, Kitzel, Brunst, Gelüst ...

Liebwerte Schwestern, laßt die Briefe,
den anonymen Veilchenstrauß!
Es könnt ihn stören, wenn er schlief.
Denn meist ruht sich der Dicke aus.

Und faul und fett und so gefräßig
ist er und immer indigniert.
Und dabei gluckert er unmäßig
vom Rotwein, den er temperiert.

Ich sah euch wilder und erpichter
von Tag zu Tag — ach! laßt das sein!
Mein Mann? mein dicker Mann, der Dichter?
In Büchern: ja.
Im Leben: nein.

Курт Тухольски
Перевод Елены Королевой

Несчастливая женщина

Мой толстый муж? Слова излишни!
Поэт, послушный буржуа -
таким его создал Всевышний.
Какой он, право, Дон Жуан?

Вся страсть выходит лишь словами,
он только в книжках дам ласкал,
там шёлк волос, прозрачность ткани
и вождления накал.

Цветы и письма? Полно, хватит!
Не потревожьте его сон!
Чем раньше встанет муж с кровати,
Брюзжать тем дольше будет он.

Мой муж до крайности прожорлив,
и, ленно сидя за столом,
он перемелет всё как жёрнов,
затем полощет рот вином.

Я вижу вашу одержимость,
но бросьте это — мой совет.
Мой муж-поэт? Уж так сложилось:
в стихах он пылок, в жизни — нет.

Русскоязычные песни в переводах Франка Фивега
(Frank Viehweg)

Виктор Цой

nach Wiktor Zoj

Закрой за мной дверь

Schließ hinter mir ab

Они говорят:
им нельзя рисковать,
Потому что у них есть дом,
в доме горит свет.
И я не знаю точно,
кто из нас прав,
Меня ждёт на улице дождь,
их ждёт дома обед.

Sie sagen, es geht nicht
Sie dürfen jetzt nichts mehr riskiern
Sie haben seit kurzem ein Haus
Und im Haus brennt ein Licht
Ich bin mir nicht sicher
Wer hat von uns mehr zu verlieren
Auf mich wartet Regen
Auf sie schon ihr Lieblingsgericht

Закрой за мной дверь. Я ухожу.
Закрой за мной дверь. Я ухожу.

Schließ hinter mir ab!
Ich gehe fort

И если тебе вдруг наскучит
твой ласковый свет,
Тебе найдётся место у нас,
дождя хватит на всех.
Посмотри на часы,
Посмотри на портрет на стене,
Прислушайся — там, за окном,
ты услышишь наш смех.

Doch falls dir das zärtliche Licht
Deine Augen verbrennt
Dann reicht auch der Regen für dich
Auf dem Weg, wo wir sind
Dann schau auf die Uhr und dann schau
Auf das Bild, das dich kennt
Und hör hinterm Fenster genau
Unser Lachen im Wind

Закрой за мной дверь. Я ухожу.
Закрой за мной дверь. Я ухожу...

Schließ hinter mir ab!
Ich gehe fort

Александр Дольский

nach Aleksandr Dolski

Мне звезда упала на ладошку

Stern in der Hand

Мне звезда упала на ладошку.
Я её спросила — Откуда ты?
— Дайте мне передохнуть
немножко,
я с такой летела высоты.

In die Hand ist mir ein Stern gefallen
Und ich fragte ihn: Wo kommst du her
Aus den allerhöchsten Höhn, aus allen
Warte einen Augenblick, sprach er

А потом добавила, сверкая,
словно колокольчик прозвенел:
— Не смотрите, что невелика я...
Может быть великим мой удел.

Вам необходимо только вспомнить,
что для вас важней всего на свете.
Я могу желание исполнить,
путь неблизкий завершая этим.

Знаю я, что мне необходимо,
мне не нужно долго вспоминать.
Я хочу любить и быть любимым,
я хочу, чтоб не болела мать,

чтоб на нашей горестной планете
только звёзды падали с небес,
были все доверчивы, как дети,
и любили дождь, цветы и лес,

чтоб траву, как встарь, косой косили,
каждый день летали до Луны,
чтобы женщин на руках носили,
не было болезней и войны,

чтобы дружба не была обузой,
чтобы верность в тягость не была,
чтобы старость не тяжёлым грузом —
мудростью бы на сердце легла.

Чтобы у костра пропахнув дымом
эту песню тихо напевать...
А ещё хочу я быть любимым
и хочу, чтоб не болела мать.

Говорил я долго, но напрасно.
Долго, слишком долго говорил...
Не ответив мне, звезда погасла,
было у неё немного сил.

Und dann sagte er mit einem Blitzen
Wie in einem sanften Glockenspiel
Ich kann dir in manchen Dingen nützen
Ich bin klein, doch das besagt nicht viel

Kannst mir deinen größten Traum enthüllen
Was dir wichtig ist auf dieser Welt
Und ich kann dir einen Wunsch erfüllen
Das ist lang schon mein vertrautes Feld

Ach, ich mußte nicht lang überlegen
Um zu wissen, wonach mich verlangt
Lieben und geliebt sein allerwegen
Und daß mir die Mutter nicht erkrankt

Daß auf unsern leidvollen Planeten
Nur noch Sterne aus den Himmeln falln
Daß wir nicht zu falschen Göttern beten
Arglos sind wie Kinder zwischen alln

Daß wir Gras mähn wie in alten Tagen
Um die Erde fliegen wie's beliebt
Und die Frauen auf den Händen tragen
Daß es weder Krieg noch Seuchen gibt

Daß der Freund auch stets ein lieber Gast ist
Daß die Treue uns mit Angst verschont
Daß das Alter nicht nur eine Last ist
Und als Weisheit in den Herzen wohnt

Daß sich dieses Lied, wie es geschrieben
Leise um ein Lagerfeuer rankt
Und noch einmal, einmal möcht ich lieben
Möchte, daß die Mutter nicht erkrankt

Nein, ich hab kein leeres Stroh gedroschen
Sprach nur lang, so lang, zu lang vielleicht
Und der Stern ist ohne Wort erloschen
Seine Kraft hat wohl nicht ausgereicht

Юрий Визбор

nach Juri Wisbor

Давайте прощаться, друзья...

Давайте прощаться, друзья...
 Немного устала гитара,
 Её благородная тара
 Полна нашей болью до дна.
 За всё расплатившись сполна,
 Расходимся мы понемногу,
 И дальняя наша дорога
 Уже за спиною видна.

Давайте прощаться, друзья...
 Кто знает — представится ль случай,
 Чтоб без суеты неминучей
 В глаза поглядеть, не скользя?
 Такая уж даль позвала,
 Где истина неугасима,
 А фальшь уже невыносима,
 Такая уж песня пришла...

Давайте прощаться, друзья,
 Чтоб к этому не возвращаться,
 Зовут нас к себе домочадцы,
 Чтоб вновь собралась вся семья,
 Но, даже дожив до седин,
 Мы гоним с усмешкою осень:
 «Мадам, мне всего сорок восемь,
 А вам — уже двадцать один...»

Владимир Высоцкий

Я не люблю

Я не люблю фатального исхода,
 От жизни никогда не устаю.
 Я не люблю любое время года,
 Когда весёлых песен не пою.

Zum Abschied

Jetzt sagt noch ein Wort vor dem Gehn
 Die Lieder sind alle gesungen
 Und haben so schlecht nicht geklungen
 Mit all unsern Schmerzen versehn
 Wir haben für alles bezahlt
 Hier sind wir nur kurz abgestiegen
 Die Wege, die noch vor uns liegen
 Sind schon in die Karten gemalt

Jetzt sagt noch ein Wort vor dem Gehn
 Wann wird es sich wieder so fügen
 Sich unverstellt und mit Vergnügen
 Und offen ins Auge zu sehn
 Es rief uns von fernher ein Land
 Wo Wahrheiten gar nicht mehr stören
 Und Lügen will niemand mehr hören
 Es war so ein Lied, das sich fand

Jetzt sagt noch ein Wort vor dem Gehn
 Es läßt sich ja nichts wiederholen
 Es brennt uns schon unter den Sohlen
 Daheim unsre Liebsten zu sehn
 Obwohl wir so jung nicht mehr sind
 Was schert uns des Herbstes Fanfare
 Ich zähl ja erst grad fünfzig Jahre
 Und du bist schon zwanzig, mein Kind

nach Wladimir Wyssozki

Ich mag nicht

Ich mag nicht dieses schicksalhafte Ende
 Noch immer fängt das Leben grad erst an
 Ich mag auch keine Jahreszeitenwende
 Wenn ich ihr keine Lieder singen kann

Я не люблю холодного цинизма,
В восторженность не верю, и ещё —
Когда чужой мои читает письма,
Заглядывая мне через плечо.

Ich mag nicht diese kalten Sticheleien
Glaub keinem, der im Lobgesang zerfließt
Ich mag nicht dieses Drängeln in den Reihen
Und wenn ein Fremder meine Briefe liest

Я не люблю, когда наполовину
Или когда прервали разговор.
Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор.

Ich mag nicht diese ewig halben Seiten
Und wenn man plötzlich nicht mehr mit mir spricht
Ich mag auch keine Hinterhältigkeiten
Und gleichfalls keine Schläge ins Gesicht

Я ненавижу сплетни в виде версий,
Червей сомненья, почестей иглу,
Или — когда всё время против шерсти,
Или — когда железом по стеклу.

Ich hasse die Gerüchte und Gebärden
Die Ordensnadeln und den falschen Spaß
Das immer gegen's Fell gestrichen werden
Und das Geräusch von Eisen überm Glas

Я не люблю уверенности сытой,
Уж лучше пусть откажут тормоза!
Досадно мне, что слово «честь» забыто,
И что в чести наветы за глаза.

Ich mag nicht dieses satte Wohlbehagen
Schon besser, wenn die Bremse mal nicht greift
Ach, Ehre ist ein Wort aus fernen Tagen
Worauf die Lüge unverhohlen pfeift

Когда я вижу сломанные крылья —
Нет жалости во мне и неспроста.
Я не люблю насилие и бессилие,
Вот только жаль распятого Христа.

Wenn sich Verrückte ihre Flügel brechen
Scheint mir das Ganze höchstens lächerlich
Ich mag Gewalt nicht und mag keine Schwächen
Nur Jesus dort am Kreuz bedaure ich

Я не люблю себя, когда я трушу,
Обидно мне, когда невинных бьют,
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более, когда в неё плюют.

Ich mag mich selbst in meiner Angst nicht leiden
Es kränkt mich, wenn ein Unrecht keinen juckt
Wenn andre sich an meinen Schmerzen weiden
Und wenn mir jemand in die Seele spuckt

Я не люблю манежи и арены,
На них мильон меняют по рублю,
Пусть впереди большие перемены,
Я это никогда не полюблю.

Ich mag den Zirkus nicht und die Arenen
Wo ein Idiot dir sonst etwas verspricht
Das immer nur nach beßrer Zukunft Sehnen
Das mag ich heut und bis ans Ende nicht

Булат Окуджава

nach Bulat Okudshawa

Главная песенка

Das wichtigste Lied

Наверное, самую лучшую
на этой земной стороне
хожу я и песенку слушаю —
она шевельнулась во мне.

Vielleicht das genialste der Lieder
Das jemals auf Erden entstand
Es raschelt mit seinem Gefieder
Und nimmt mich beherzt bei der Hand

Она ещё очень неспетая.
Она зелена как трава.
Но чудится музыка светлая,
и строго ложатся слова.

Das Lied ist noch gar nicht gesungen
Und sucht noch nach manchem Akkord
Doch scheint die Musik mir gelungen
Und recht fügt das Wort sich zum Wort

Сквозь время, что мною не пройдено,
сквозь смех наш короткий и плач
я слышу: выводит мелодию
какой-то грядущий трубач.

Vielleicht wird in künftigen Zeiten
Ein Geiger mit großem Talent
Die Töne des Liedes verbreiten
Das Lachen und Weinen nicht trennt

Легко, необычно и весело
кружит над скрещеньем дорог
та самая главная песенка,
которую спеть я не смог.

So leicht ohnegleichen. Und wieder
Da drängt es sich freudig ans Licht
Das wichtigste Lied aller Lieder —
Zu singen vermocht ich es nicht

Константин Никольский

nach Konstantin Nikolski

Скрипач

Повесил свой сюртук
на спинку стула музыкант,
расправил нервною рукой
на шее чёрный бант.
Подойди скорей поближе,
чтобы лучше слышать.
Если ты ещё не слишком пьян...

О несчастных и счастливых,
о добре и зле,
о лютой ненависти
и святой любви.
Что творится, что творилось
на твоей земле
всё в этой музыке —
ты только улови.

Вокруг тебя шумят дела,
бегут твои года.
Зачем явился ты на свет,
ты помнил не всегда.
Звуки скрипки всё живое
скрытое в тебе разбудят
если ты ещё не слишком пьян.

Устала скрипка, хоть кого
состарят боль и страх.
Устал скрипач, хлебнул вина —
лишь горечь на губах.
И ушёл, не попрощавшись,
позабыв немой футляр.
Словно был старик сегодня пьян.

А мелодия осталась
ветерком в листве
среди людского шума
еле уловима.

Der Geiger

Der Geiger hat den Frack zerstreut
An einen Stuhl gehängt
Die Fliege grad zurechtgerückt
Die ihm den Hals einzwängt
Komm doch näher, um zu hören
Seine Töne, seine Lieder
Wenn du noch nicht ganz betrunken bist

Singt Verderben und Vergnügen
Falschheit und Verlaß
Von der Liebe höchstem Stern
Und von tiefstem Haß
Was geschieht und was geschehn ist
Alles, Stück für Stück
Lebt in Tönen der Musik und
Kehrt zu dir zurück

Die Dinge lärmen um dich her
Die Jahre rennen fort
Warum kamst du auf diese Welt
Was hält dich hier am Ort
Und was längst in dir begraben
Alles weckt die Geige wieder
Wenn du noch nicht ganz betrunken bist

Die Geige stöhnt, die Angst macht leicht
Aus jedem Kerl ein Wrack
Der Geiger nimmt erschöpft ein Glas
Und greift nach seinem Frack
Und geht wortlos von der Bühne
Ohne seinen Geigenkasten
Fast, als ob er heut betrunken ist

Doch die Melodie klingt weiter
Töne sanft im Wind
Die im Lärm des Alltags
Kaum zu hören sind

Борис Гребенщиков

nach Boris Grebenschikow

Самый быстрый самолёт

Das schnellste Flugzeug

Не успели все разлить,
 а полжизни за кормою,
 И ни с лупой, ни с ружьём
 не найти её следы;
 Самый быстрый самолёт
 не успеет за тобою,
 А куда деваться мне —
 я люблю быть там, где ты.

Alles ist noch nicht verloren
 Nur das Leben halb entschwunden
 Seine Spurn sind ausgelöscht
 Ach, wie schnell sich was vergißt
 Auch das schnellste Flugzeug holt
 Dich nicht ein in allen Stunden
 Doch wo sollte ich sonst hin
 Ich will dort sein, wo du bist

Вроде глупо так стоять,
 да не к месту целоваться;
 Белым голубем взлететь —
 только на небе темно;
 Остается лишь одно —
 пить вино да любоваться;
 Если б не было тебя,
 я б ушёл давным-давно.

Es ist dumm, so rumzustehn
 Statt sich zärtlich zu umarmen
 Für zwei weiße Tauben ist
 Dieser Himmel nur ein Hohn
 Vielleicht schenkt dein Anblick mir
 Doch ein kleines Stück Erbarmen
 Ach, ich wär aus dieser Welt
 Ohne dich schon längst entflohn

Всё, что можно пожелать —
 всё давным-давно сбылося,
 Я ушёл бы в тёмный лес,
 да нельзя свернуть с тропы;
 Ох, я знаю, отчего
 мне сегодня не спалося —
 Видно, где-то рядом ты,
 да глаза мои слепы.

Alles, was ich sonst erhofft
 Hat mein Gott mir zugestanden
 Doch ich glaub, daß ich den Weg
 In den dunklen Wald nicht find
 Und daß die Gedanken heut
 Nicht die kleinste Ruhe fanden
 Heißt, ich könnte dich wohl sehn
 Wärn nicht meine Augen blind

Так что хватит запрягать,
 хватит гнаться за судьбою,
 Хватит попусту гонять
 в чистом море корабли:
 Самый быстрый самолёт
 не поспеет за тобою —
 Но когда ты прилетишь,
 я махну тебе с земли.

Ach, es reicht an bitterm Los
 Und mit immer offenen Wunden
 Ziellos durch die Zeit zu irrn
 Endlos ohne jede Ruh
 Auch das schnellste Flugzeug holt
 Dich nicht ein in allen Stunden
 Fliegst du jemals hier vorbei
 Wink ich dir vom Boden zu

Вера Колкутина

Оскар-2019

Чего мы, зрители, ждём, и что мы лично хотим получить?

Как показывает практика, мы, зрители, ждём чуда.

Мы не ждём сатисфакции, воздаяния по заслугам тем, кто заслужил. Мы, зрители, ждём чуда и «инструкций» — обрати внимания туда, там Оскар за главную мужскую! Или же: обрати внимание туда! Там Оскар за лучший саундтрек!

Оскар — как хороший путеводитель, ведь если фильм премирован за «лучший саундтрек», то и фильм же, наверное, хорош?! Мы рассуждаем так: «Ну не может быть фильм «отстой», а саундтрек — Оскар?!»

Да, мой зритель. Не может. Потому мы так ждали выхода путеводителя, ждали вручения Оскара-2019. И дождались.

У нас с вами есть и персональная, географическая радость.

Германия в этом году была представлена в коротком списке номинации «Лучший фильм на иностранном языке», и это был фильм

«Работа без авторства» (Werk ohne Autor), режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк (Florian Henckel von Donnersmarck)

Жанр фильма — историческая драма, триллер.

Да, элементы триллера есть в картине, и вас ожидают не только драматические факты истории Германии второй половины двадцатого века. Они известны всем.

Доннерсмарк предлагает геройство и пошлость обычных людей, на месте которых мог бы быть каждый. Хэппи-энд есть, но он не очевиден.

Мнения разделятся. Споры и обсуждения после просмотра гарантированы.

Фильм также отмечен мастерской операторской работой Калеба Дешанеля. Он за свои 74 года снял более пятидесяти пяти фильмов. Камера для него не инструмент съёмки, а продолжение вашего взгляда, и всегда именно туда, куда вам бы хотелось посмотреть в следующий момент. Дешанель также претендовал на «Оскара» в своей номинации.. 

Ольга Федоровская

Жуковский и Германия

«Дом, в котором живу, принадлежит уже не к городу Дюссельдорфу, а к смежному с ним местечку; он отделён от города прекрасным парком. С южной стороны моего дома находится этот парк: сквозь тенистые липы его, растущие на зелёном холме, видны из окон моих городские здания. На западе у меня Рейн, скрытый за деревьями; но в ясный вечер бывает на него вид прекрасный с верхнего балкона; тогда низкие берега его, покрытые мелкими селениями и рощами, принимают цвет фиолетовый и почти сливаются с широкою рекою, ярко сияющей на заходящем солнце, покрытой судами, бегущими, в разных направлениях, и колыхаемой пароходами, которых дым далеко видится, и колокола, а иногда и пушки, звучно ввечеру раздаются. С севера окружает мой дом маленький сад (150 шагов в окружности); за садом мой собственный огород, снабжающий обильно мой стол картофелем, салатом, горохом и подобною роскошью; за огородом поле, на горизонте которого городское кладбище, мимо этого кладбища идет большая дорога. На восток от моего дома продолжение парка... Положение дома моего весьма уединённое. Он вне всякого городского шума... Я убрал этот домишко так удобно, что не могу желать себе приятнейшего жилища: в нем есть картинная галерея, есть музей скульптуры и даже портик, под которым можно, не выходя из дома, обедать на воздухе. В саду есть просторная беседка... Я должен прибавить, что самая большая горница моего дома принадлежит не мне, а моему тестю Рейтерну. В ней он учредил свой atelier, где теперь работает весьма прилежно».

Так описывал в переписке с одним из знакомых своё новое место жительства русский поэт Василий Жуковский, поселившийся в Дюссельдорфе после венчания с 18-летней дочерью русско-немецкого живописца Герхарда-Вильгельма фон Рейтерна (известного также как Евграф Романович Рейтерн), друга Гёте и Людвиг Гримма. Церемония состоялась 21 мая 1841 года в церкви русского посольства в Штутгарте.

Но каким образом устроился его брак с молоденькой девушкой?

Лизхен, как звали её домашние, была очень романтичной девушкой. Впервые она услышала о Жуковском от отца. Тогда ей было только семь лет. Её отец, вернувшись из Бад-Эмса (курортный городок на западе страны, километрах в двадцати от Кобленца), где находился на лечении, с увлечением рассказывал своим домашним возле камина под сводами замка Виллинсгаузен о встреченном там Жуковском. Перед глазами маленькой Лизхен вставала романтическая история любви известного поэта, воспитателя наследника русского престола

Александра Николаевича, и его кузины, — история, рассказанная самим Жуковским её отцу. Несмотря на то, что любовь была взаимна, на пути их счастья встало сопротивление матери. И быть вместе влюблённым оказалось не суждено. В ушах Лизхен звучали строки непонятных ей стихов на русском языке. И виделся ей этот неизвестный Жуковский таким благородным принцем, помогающим всем окружающим и боготворящим свою любовь.

Познакомились они только через пять лет, когда ей исполнилось тринадцать, и она была обычным подростком. Жуковский вновь лечился в Эмсе, а затем они с Рейтерном отбыли в Швейцарию на виноградное лечение, прописанное доктором. Следующим этапом лечения была Италия, но Жуковский, ещё не вполне окрепший, побоялся такого длительного путешествия. И тогда ему в голову пришла идея провести некоторое время в Швейцарии, пригласив туда Рейтерна с семьёй. На удивление, жена Рейтерна согласилась, и вскоре семейство со всеми пятью детьми, включая Лизхен, воссоединилось в доме в деревушке Верне, на берегу Женевского озера. Целый год жили они в Швейцарии под одной крышей. Лизхен считала себя вполне взрослой девушкой, и близость так романтизированного ею персонажа совсем вскружила ей голову... Конечно же глупые взрослые, занятые своими делами и важными разговорами, не замечали её к нему отношения. Но самое главное, что не замечал он! Как такое может быть? И когда он вновь уезжал в свою Россию, отчаянно Лизхен не было предела, так как была большая вероятность, что уезжает он навсегда...

И так бы оно и случилось, если бы ещё через пять лет, сопровождая своего царственного подопечного в поездке по Европе, не заглянул Жуковский к переехавшим в Дюссельдорф Рейтернам. И каково же было его удивление, когда он увидел уже совсем выросшую Лизхен. Но ещё более его удивили и огорошили её долгие и нежные взгляды. Ему уже за пятьдесят, и он гнал крамольные мысли из головы. Однако не до конца... Всю жизнь он мечтал о тихом семейном счастье, и сейчас, когда обучение наследника подошло к концу, и вместе с этим работа всей его жизни была закончена, он себя чувствовал таким одиноким, что готов был схватиться за любую возможность, которая бы наполнила его дальнейшую жизнь смыслом. И, как оказалось, это самое счастье ждало его уже столько лет...

«За четверть часа до решения судьбы моей, — писал Жуковский Екатерине Ивановне Мойер, — у меня и в уме не было почитать возможным, а потому и желать того, что теперь составляет мое истинное счастье. Оно подошло ко мне без моего ведома, без моего знания, послано свыше, и я с полной верою в него, без всякого колебания, подал ему руку».

Жуковский окунулся с головой во все прелести семейной жизни.

«Первый год супружества Жуковский, если судить по его произведениям

и переписке, был в хорошем расположении духа. В это время им написаны сказки: «Об Иване-Царевиче и сером волке» и «Кот в сапогах», исполненные известной весёлости. В письме к императрице Александре Федоровне в 1842 году он сообщает о довольстве своей участью». Так писал в своём очерке писатель и критик Василий Огарков в 1894 году.

Сам Жуковский характеризовал первое время после женитьбы так:

«Там провёл я мирно и однообразно десять месяцев, совершенно отличных от всей прошлой моей жизни. В это время, будучи предан исключительно жизни семейной, я познакомился с нею коротко. Знаю теперь, что только в ней можно найти то, что на земле можно назвать счастьем; но также знаю, что это счастье покупается дорогою ценою... И подлинно, я здесь совершенно принадлежу своему домашнему быту: с здешним большим светом я не познакомился; литературных связей никаких не сделал; до политики мне дела нет; живу дома, то есть у себя и в семье своего тестя».

Летом 1843 года у Жуковского долго гостил Гоголь. Жуковский в то время занимался переводом «Одиссея» Гомера. В ноябре 1843 года Жуковский написал Гоголю:

«Любезнейший Гоголёк <...> У меня дома всё по-старому, как видели вы. А «Одиссея» идёт вперёд ровным шагом. Если будет возможность остаться ещё на два года за границею, то привезу в Россию готовую «Одиссею»... Рекомендуйте ей мою рождающуюся 3000-летнюю дочку, которую я люблю почти как родную. Ваш Жуковский».

Раздумья возможности пробыть за границей ещё два года связаны с тем, что в России существовал закон, позволявший дворянству пятилетнее пребывание за границей. Учитывая заслуги Жуковского перед монархией в деле воспитания цесаревича и великих княжен, этот закон на него не распространялся, и ему было «позволено жить там, где он найдёт для себя удобнее и приятнее». Тем не менее, в Петербурге с Жуковского была взята расписка, что он обязывается «крестить и воспитывать детей своих в лоне православной церкви». Несмотря на это, уже в конце 1842 года, через полтора года после отъезда Жуковского, после рождения дочери Александры, великий князь Константин Николаевич первым спросил о сроке его возвращения в Россию. То есть за три с половиной года до окончания установленного законом легального срока со стороны императорской семьи появились первые сигналы-вызовы. Жуковского уже звали назад. Вопрос о сроках пребывания за рубежом напрямую сопрягался в русском сознании с проблемой патриотизма.

К концу 1843 года положение Жуковского осложнилось, и он был вынужден лично встретиться с Александром Николаевичем в Дармштадте. Беседа носила неприятный, драматический характер и оставила у поэта чувство

неуверенности, неудовлетворенности — наследник престола, будущий император Александр II потребовал от поэта разъяснений касательно его дальнейших планов.

Причина всего этого была выяснена несколько позже.

Письмо от 1 января 1844: «Через Париж я узнал, что в Петербурге, и именно при дворе, ходят толки, будто я сделался католиком <...> Должен из этого заключить, что есть какой-нибудь тайный враг, который хочет мне повредить».

Наставнику престолонаследника и автору русского гимна «Боже, царя храни» прослыть католиком значило нарушить подписанное при отъезде собственное обязательство и напрямую быть обвинённым в антипатриотическом настроении!

Семейное счастье было омрачено и болезнью жены. Её преследовало довольно сильное нервное расстройство, которое влияло на отношения с Жуковским и в целом сильно осложняло жизнь семейства. В 1844 году, чтобы быть поближе к лечащему врачу, Жуковские перебрались во Франкфурт. Нахождение вблизи российской дипломатической миссии на берегу Майна также способствовало тому, что ему было позволено остаться за границей.

В 1845 году, после рождения сына Павла, ссылаясь на здоровье жены, Жуковский вновь продлил своё пребывание в Германии. Потом в России разразилась эпидемия холеры, что также повлияло на желание литератора остаться в Германии.

Жуковский так и не вернулся в Россию — по состоянию своего здоровья. В 1851 году он совсем уже собрался поехать, и даже собирал вещи... Но судьба распорядилась иначе. Зрение, которое и так подводило его в последнее время, окончательно оказалось утрачено. Он ослеп. Поездка не состоялась.

Умер Жуковский в апреле 1852 года в Баден-Бадене (тогда он назывался просто Баден) в кругу семьи. Елизавета Рейнтер-Жуковская пережила мужа всего на четыре года.

Следы жизни поэта в Германии остались и в России. В одну из своих поездок на лечение Жуковский со своим другом Рейтерном (в то время ещё не тестем), путешествуя по Германии, навестил мастерскую приятеля отца Лизхен, художника Каспара Давида Фридриха. Сейчас его картины украшают стены самых престижных художественных галерей Германии и мира, а в то время он не был признанным художником (произошло это только в начале двадцатого века). Скорее всего, как раз из-за того, что Фридрих опередил в творчестве своё время, и понимание зрителем его картин и техники письма придёт позднее, лет через шестьдесят-семьдесят. Но Жуковский, который сам был одарённым художником, хотя и не развивал этот дар в себе, оценил картины Фридриха сразу. Поэт купил две работы для себя и одну для Зимнего дворца, так как располагал

соответствующим поручением императрицы. И потом ещё несколько лет действовал уговор Жуковского с Фридрихом, что художник присылает ежегодно два полотна в Санкт-Петербург. Сегодня в Эрмитаже находятся тринадцать работ Фридриха, и ещё девять — в московском Пушкинском музее. Благодаря художественному вкусу Жуковского российские коллекции обогатились работами прекрасного художника. 

Мария Цирулева

Песок на полу

Диван был серый, тканевый, с чёрными ниточками-вкраплениями. Я села на край и в нерешительности обвела глазами комнату. Гостиная двухкомнатного номера турецкого отеля под Аланьей: угловой диван, на котором я сидела, журнальный столик, большой чёрный телевизор на тумбе, и на стене по обе стороны от телевизора одинаковые картины за стеклом — жёлто-розовые лилии акварелью. На ковровом полу возле стеклянной балконной двери темнело пятно. В проходе у стены стояли чемоданы и пакет из duty free.

— Что будем делать? — спросила я Олега. — Пойдем посмотрим пляж или здесь останемся?

Олег прошёл к чемоданам, взял белый пакет и сел рядом на диван.

— На пляж ещё успеем сходить, — усмехнулся он и поставил на журнальный стол литровый ред лейбл и двухлитровую колу. — Давай отметим нашу встречу, что ли.

— А ты предусмотрительный! — засмеялась я.

Вмиг на столе появились стаканы, Олег смешал виски с колой, мы чокнулись, я поднесла стакан к губам. Газики-брызги от колы зацекотали нос, я вдохнула знакомый сладковато-терпкий запах и сделала глоток тёплого, душистого, неохлаждённого напитка.

— Конечно, предусмотрительный, — сказал Олег. У него был слегка гнусавый голос и мясистые алые губы. Я вспомнила, что в школе его называли губошлёпом. — Ты привлекательна, я чертовски привлекателен — так чего зря время терять?

Мы выпили ещё немного, и он положил меня на серый тканевый диван.

Олег был моим школьным приятелем. Когда ему было пятнадцать, он с семьёй эмигрировал в Германию, и из всей их компании только со мной у него не прерывалась связь. Было начало двухтысячных, и несколько лет до появления соцсетей мы исправно слали друг другу длинные имейлы, рассказывали новости, слегка философствовали и слегка флиртовали.

Шесть лет спустя на зимних каникулах я оказалась с однокурсниками в Германии и решила заехать в Мюнхен, навестить старого друга. На улице было промозгло и слякотно, а в «Хофбройхаусе» тепло, шумно, душевно, деревянно. Официантки в озорных баварских платьях с кружевными фартуками разносили пиво в блестящих литровых кружках (по три в каждой руке!), и пиво было солнечным, ликующим, медовым и на вид и на вкус. Утром я проснулась с

тяжёлой головой в комнате Олега, вместо гостевой комнаты, где мне постелили его родители. Так наше онлайн-общение переросло в роман, и мы договорились летом встретиться в Турции, на нейтральной территории, и провести вместе две недели.

Отель был ниже среднего, разнообразные блюда шведского стола через пару дней казались одинаковыми на вкус, а после адского турецкого попойки в баре всё утро мутило, даже если накануне выпил совсем немного. Зато море было безупречным. Мы занимали лежаки у самой воды, плавали, потом возвращались на берег и часами лежали в тени под зонтиком. Говорили коротко, в основном про мелкие бытовые дела и события, и эти разговоры не были похожи на доверительные имейлы, которые мы слали друг другу раньше. Больше молчали, и я удивлялась, глядя на Олега, как он может долго-долго лежать просто так, с пивом в руке и смотреть вдаль, без выражения какой-либо мысли на лице. Смотрела на его карие глаза и красивые ровные брови, потом тоже переводила взгляд на горизонт, где серенькое море сливалось с небом в полуденной дымке. Слушала белый шум волн, сгибала ноги в коленях, ставила на них книгу, открывала и читала: *Люди, жизнь-бытьё которых составит предмет этого рассказа, суть жители старгородской соборной поповки. Это — протоиерей Савелий Туберозов, священник Захария Бенефактов и дьякон Ахилла Десницын.*

Во второй половине дня шли в номер. Там Олег вёл меня к угловому серому дивану, снимал ещё влажный лифт от купальника и целовал мою холодную от мокрого купальника незагорелую грудь, а на пол и на диван сыпался песок и мелкие камушки.

Он любил меня долго, и когда у меня заканчивался восторг и головокружение первых минут секса, побывав уже и сверху, и сбоку, и снизу, я просто лежала расслабленно, обнимала его и смотрела на две одинаковые картины с лилиями, ожидая, когда он кончит. Но он не кончал, и однажды я от нечего делать начала концентрироваться на своих ощущениях, напрягать нужны мышцы, чтобы острее чувствовать его внутри, представлять, как мы смотримся со стороны. Я почувствовала, что напряжение, которое снова начало расти во мне, может куда-нибудь привести, а не раствориться, как всегда бывало раньше. Я знала, что спешить некуда, закрыла глаза и сосредоточилась на своих ощущениях, которые наплывали волна за волной. Потом вцепилась Олегу в плечи — и испытала свой первый в жизни вагинальный оргазм. Это было покруче, чем клиторальный — единственный доступный мне оргазм до этого дня. Я сказала об этом Олегу, и весь оставшийся день он довольно улыбался, глядя на меня.

На следующий день на пляже, когда мы приземлились на лежаки после купания, и я достала книгу, он спросил:

— Что читаешь?

— «Соборяне».

— Это что?

— Лесков.

— И про что?

— Про жизнь двух священников и одного дьякона в провинциальном городе.

— М-м-м, окей.

И он перевёл взгляд на море и принял свою медитативную позу: в одной руке пиво, другая согнута в локте и закинута за голову. Мне хотелось рассказать ему про пылакого и энергичного отца Савелия, про крошечного кроткого Захарину, про *непомерного* и очаровательного богатыря Ахиллу, про перепрятанные кости и всю эту фантазмагорию, от которой хочется смеяться и плакать, но я знала, что Олегу будет неинтересно и он не поймёт. И открывала книгу с досадой, со странным желанием насолить ему: *Это он думает, что я сейчас с ним, рядом, а на самом деле я — там, в тихом летнем Старгороде, и не имею к нему никакого отношения. И весь этот отупляющий турецкий берег — только обрамление того, что происходит у меня в книжке.* С этими мыслями я отдавалась чтению.

Как-то вечером после пляжа мы сели в автобус и поехали в Аланию посмотреть крепость. Солнце уже садилось, туристы разбрелись на ужин по отелям и ресторанам, и мы вдвоем поднимались по узкой каменной дорожке на вершину холма. Тонкие и длинные коты грелись на тёплых камнях. Из крошечной мечети — протяжно, отрешённо — зазвучали напевы муэдзина, призыв на молитву. Разлились по всему холму в остывающем плотном вечернем воздухе. Мимо проехал человек на мопеде (звук мотора надрезал воздух), остановился у мечети, снял сандалии и вошёл внутрь.

С вершины крепости далеко открывалось в густеющих сумерках море. У подножия холма лежал порт и набережная с ресторанами, там уже зажглись огни. В небе появлялись звёзды. Пахло сухой выжженной солнцем травой.

— Смотри, вон в порту Красная Башня, — сказала я.

— Кызыл Куле, — уточнил Олег. — Как раз сегодня тоже смотрел в путеводителе.

— Пришлабы восемьсот лет назад сельджукский султан, взял Аланию и построил башню и эту крепость. И стал непобедимым, да ещё попал в путеводители.

Я взяла его за руку. Мне казалось, что всё это: и тонкие коты, и густой вечерний воздух, молитва муэдзина, мужчина на мопеде, и сельджукский султан, и бледные звёзды в сумраке, — воспоминания, которые мы создаём сейчас вместе. И всё это теперь будет немножко он и немножко я.

Олег не прижился в Германии. Нет, он успешно выучил язык, окончил школу и теперь учился в Мюнхенском университете, но близко сходился только с русскоязычными сверстниками (недостатка в них, впрочем, не было). Немцы оставались ему чужды, когда мы знакомились с кем-нибудь на пляже или в баре отеля, он говорил, что из России. Иногда, особенно по вечерам, когда мы выпивали в баре, он опускал глаза и рассуждал, что в России он теперь чужой, а в Германии так и не стал своим. Потом выпивал ещё, и на него находило ожесточённо-весёлое настроение: он расправлял плечи и хотел пойти с кем-нибудь подраться или сделать ещё что-нибудь залихватское.

Однажды в попытке усмирить его я взяла его за руки и сказала:

— Ну хватит, Олежек, пошли домой.

Он вырвал руки и посмотрел на меня со злобой и сожалением:

— Куда — домой? Нет у меня дома!

Я подумала, что вполне можно было сказать, что его дом сейчас — это я. Ведь мы были вместе круглыми сутками уже вторую неделю, и он кончал в меня по три раза в день, и не было места на теле друг друга, до которого бы мы не дотронулись бы руками, губами, языком. И ещё я подумала, что могла бы быть его домом и дальше.

Ночью после бара мы приходили в номер, и Олег включал на своем ноутбуке хип-хоп или r'n'b. Я залезала на широкий подлокотник дивана и танцевала, а он садился рядом и, улыбаясь уголком пухлых губ, смотрел мне под короткую джинсовую юбку, где виднелись малиновые трусики. Иногда после этих танцев он оставлял меня только в юбке и трусиках и вёл к большому зеркалу в прихожей. Ставил к стене напротив зеркала, сам вставал сзади. Я выгибала спину, он приподнимал юбку, брал меня за бедра и сдвигал в сторону трусики. Мы оба смотрели в зеркало. Я упиралась ладонями в шершавую белую стену.

За день до отъезда я уговорила Олега поехать в Миру, античный город в области Ликия, посмотреть церковь святителя Николая. Сначала он не хотел, потому что ехать нужно было несколько часов на туристическом автобусе, и вообще Санта-Клаусов, Олег сказал, он и так видел в большом количестве на Рождество. Но я очень просила, и он согласился. Всю дорогу в автобусе он дремал у меня на груди.

Наконец нас высадили на парковке, и чем ближе мы продвигались к храму, тем плотнее сгущались ряды сувенирной продукции с изображением Николая Чудотворца и его западного аналога. Между рядами высился и колыхался на жарком ветерке огромный надувной Санта-Клаус в красном полушубке.

Мы вошли в церковь. Кремовые, отполированные временем камни, высокий свод, мягкий свет из алтарных окон. Я знала, что это не тот самый храм, в котором служил святитель, что это базилика восьмого века, но казалось,

что всё случилось именно здесь. Собрались седобородые епископы и никак не могли выбрать главного. И одному архиерею привиделся ангел и сказал остаться ночью в храме, и что первый человек, который войдёт на утреннюю службу, — и будет новым архиепископом. И ангел назвал его имя. И старец жался в тёмном храме к холодному каменному притвору. И на рассвете, едва первые лучи солнца пробились в алтарные окна, скрипнула дверь и вошёл человек — худой и в поношенной одежде. Старец спросил его имя, и тот кротко ответил: «Называюсь я Николай, раб святыни твоя, владыко!» И это было то имя, на которое указал ангел.

За этими мыслями я потеряла Олега из вида. Понскала глазами и увидела, что он вместе с остальными туристами лазал в алтаре.

На следующий день мы улетали: он в Мюнхен, я в Москву. Всё утро я волновалась. Ждала, что сейчас он скажет что-то — что-то большее, чем то, о чём мы говорили до сих пор. Но ничего такого он не сказал, и в аэропорту мы обнялись и поцеловались едва ли не бодро (Отличные каникулы! Да, всё было просто супер!)

Я осталась одна и ждала в кресле объявления о начале посадки. Казалось, что после расставания с Олегом должно быть тяжело и горестно, и я удивлялась тому, что было просто — пусто. Достала из сумки книгу, открыла и прочитала: *Возвратясь с похорон карлика, дьякон не только как бы повеселел, а даже расшутился.*

— Видите, братцы мои, как она по ряду всю нашу дюжину обигать зачала, — говорил он, — вот уже и Николай Афанасьевич помер: теперь скоро и наша с отцом Захарией придёт очередь.

II Ахилла не ошибся. Когда он ждал её встречи, она, милостивая и неотразимая, стояла уже за его плечами и приосеняла его прохладным крылом своим. 

Керим Мутиг

* * *

Император Ци в небо пускал голубей,
Сквозь прищур косой наблюдал,
Приложив ладонь козырьком ко лбу,
К виску поднимал дуло,
Вертел барабан,
На курке пальцы складывал в дулю,
Жал и ждал,
И, пока разгонялась пуля,
Шёл по осеннему полю босой,
И всё думал
О ней...
С чёрной длинной косой, что змеёй обвивает колени,
С косыми скулами,
Что одна не боялась его, императора Ци,
Барабанная дробь в груди гнула рёбра, как тонкие спицы,
Он стремился на волю, как те птицы,
Он чувствовал ветер в упор,
Он был бос и гол,
Он почти уже жил,
Он готов был сейчас родиться,
Но опять не решился,
Опустил...
Именной ствол,
Гулко звякнула пуля,
Ударом о каменный пол,
И голуби в клетке проснулись...

* * *

Пробит билет до конечной,
Стучит неровно, гулко,
Держи руку ровно,
Не дыши так часто, слушай ветер,
Вон коршун плавным движеньем,
Как пастырь,
Вверх-вниз, по кругу,

А тетива мелкой дрожью,
Это — твоя слабость, ощути ритм,
Сыграй фугу,
Отдайся танцу и пальцы,
Отпустят в нужный миг,
Конечно...

Владимир Спектор

* * *

А вы из Луганска? Я тоже, я тоже...
И память по сердцу — морозом по коже,

Ну да, заводская труба не дымится.
Морщины на лицах. Границы, границы...

И прошлого тень возле касс на вокзале.
А помните Валю? Не помните Валю...

А всё-таки помнить - большая удача.
И я вспоминаю. Не плачу и плачу.

Глаза закрываю — вот улица Даля,
как с рифмами вместе по ней мы шагали.

Но пройденных улиц закрыта тетрадка.
Вам кажется, выпито всё, без остатка?

А я вот не знаю, и память тревожу...
А вы из Луганска? Я тоже. Я тоже.

* * *

Всё случилось неожиданно —
У войны повадки резкие.
Направленье его выдано
Нам в «края антисоветские».

Да и дома — те же пряники,
Что не куплено — то продано.
Все мы — странники-изгнанники
Из страны, что звали «Родина».

* * *

Где-то на окраине тревог,
Где живут бегущие по кругу,
Вечность перепутала порог,
И в глаза взглянули мы друг другу.

Черствые сухарики мечты
Подарила, обернувшись ветром
В мареве тревожной маеты,
Где окраина так схожа с центром.

Юрий Берг

Сентябрь в Розенхайме

Молочным светом фонарей
залита улица пустая,
вода, холодная, кося,
толчётся у входных дверей.
Мой город в серый дождь одет,
и летние кафе закрыты,
и мокнет с вечера забытый
в садовом кресле старый плед.
И шорох шин, и блеск слюды
в ещё струящемся фонтане,
зелёный мох на влажном камне
и кадки, полные воды.
Но гонит ветер дождь взащей,
и завтра снова будет ведро,
и зашагают мамки бодро,
котя в колясках малышей.
За свежей булкой, без плаща,
из дома выбежит соседка,
и воду отряхнёт беседка,
сдувая капельки с плюща.

Хабнэ

В магазинчике подвальном иудей читает Тору
и вылизывает кошка шестерых своих котят,
а на вешалках горбатых пиджаки, салопы, брюки,
густо пахнут нафталином и расслабленно висят.
А на площади базарной, при большом скоплении люда,
продают съестное бабы из окрестных деревень
и окраина местечка пахнет сеном и дровами,
и горшки уселись плотно — кто на тын, кто на плетень.
Там и я бреду с базара: в левой три кило картошки,
в правой кринка со сметаной, а в авоське сельский хлеб,
и течёт над миром Время, время медленно уходит...
А еврей читает Тору — книгу жизни и судеб.

Ильдар Харисов

сНежной строкой в январе

Осенью 2009 года в Берлине было создано Содружество русскоязычных литераторов Германии, вскоре официально зарегистрированное как VRAD — Vereinigung russischsprachiger Autoren Deutschlands e.V. К десятилетнему юбилею Содружество запланировало ряд мероприятий, первым из которых стали Большие зимние чтения «сНежная строка».

Загодя объявив конкурс произведений в стихах и прозе, члены Содружества отобрали из присланных по интернету заявок десять авторов — им было предложено выступить 12 января в берлинском кафе Art City People на Ораниенбургер штрассе. Ведущие Татьяна Белонина и Михаил Шлейхер создали если не «нежную», то во всяком случае непринужденную атмосферу чтений, напомнившую об уютном старо-новогоднем вечере в кругу коллег. Тем не менее, чтения включали в себя и момент конкуренции: читающих оценивало жюри, в которое вошли артистка Светлана Лучко, поэты и прозаики Александр Шмидт, Виктория Жукова (Мелеги), Савва Варяжцев, Сергей Гапонов, Григорий Аросев, а также автор этих строк.

Работы конкурсантов заметно отличались как по уровню владения словом, так и по стилистической направленности. В одних случаях от слушателя требовалось внимание к психологически точной «смычке смыслов» (проза Даниила Бендицкого), в других — способность довериться исполнительскому обаянию певца-гитариста, забыв про погрешности стиха (вокал Паши Interpaull); текучие верлибры Елены Раджепвари соседствовали с угловатой силлаботоникой Влада Бедрина; бесхитростный рассказ на актуальную тему из жизни восьмилетнего эмигранта (Александр Даниф) — со строчками, откликающимися на опыт и судьбы поэтов Серебряного века (стихи рижанки Валерии Мизгаре, принявшей в чтениях «заочное участие», были прочитаны ведущей).

В результате голосования членов жюри третье место разделили прозаики Юлия Ефременкова и Ксения Шер. Рассказ Юлии Ефременковой «Трамвай в сочельник» иронически обыгрывает реалии русскоязычной богемы Берлина, тогда как «Кайлас» Ксении Шер отправляет читателя в горы Тибета, где, по традиции жанра, встречаются мужество, страсть и смерть. Второе место заняла сказка-притча Сергея Пронина «Принцип короля» с все-временным политическим подтекстом. Наконец, победителем конкурса стал поэт Григорий Кофман, получивший и приз зрительских симпатий. Раёшник и пафлет, языковой эксперимент и лирика, не боящаяся штампов, но остроумно их переосмысляющая, — знакомые и любимые многими черты поэтики Кофмана в очередной раз стали залогом успеха автора.

На январских чтениях был представлен новый логотип Содружества с буквами SLOG. С тех пор он красуется на целом ряде афиш, информирующих берлинцев о новых встречах общества, в частности, о вечерах поэзии и прозы, продолжающих конкурс «Нежная строка». 

Владимир Р. Fišo ПЕРЕПЕЛИЦА, Ольга КЛЯЙМ,
Майя БИРДУД-ХЕДЖЕР, Нелли ШУЛЬМАН, Максим КАШЕВАРОВ,
Мария ЕВДАЕВА, Михаил ШЛЕЙХЕР, Юлия АБДУЛАЕВА,
Маша КРИЧЕВСКАЯ, Леонид ЗЛОБИНСКИЙ, Мария ШЕВЦОВА,
Елена КОРОЛЕВА, Мария ПЕКЕР, Ольга ХОРН, Евдокия ЛАПИНА,
Виктория КИРИЧЕНКО, Максим КИТАЙЦЕВ, Эльмира ГУСЕЙНОВА,
Артём «Явас» ЗАЯЦ, Ольга ФЕДОРОВСКАЯ, Валерия КРУТОВА,
Вера КОЛКУТИНА, Григорий АРОСЕВ, Елена САФРОНОВА,
Евгений КРЕМЧУКОВ

Маскарад

Рассказ 25 авторов

Мохнатая снежинка упала на ладонь и не растаяла. В голове пронеслось: «Мохнатая — значит, потеплело, не растаяла — значит, руки уже холодные». Я машинально передвинул несколько лядинок, и они уже привычно рассыпались радужными искрами. «Интерференция, — устало подумал я. — Чёрт, осталось совсем немного, а в голове крутится такая ерунда». Взгляд упал на часы, потом на вспыхнувший экран телефона — мессенджер заставил меня отвлечься от грустных мыслей. «Забудь о ней, она тебе не нужна». — «Я подарю тебе мир и покой». — «Герда, где же ты, моя Герда», — прошептал я и выключил телефон. Мимо пронеслась, наверное, сотая по счёту электричка. Люди вывалились на платформу как картофелины из опрокинувшегося мешка и, на ходу натягивая перчатки и рюкзаки, понеслись к выходу в город. Я смотрел, как они поёживаются, выходя на мороз из тёплых вагонов, и думал о каких-то глупостях. Экран телефона снова вспыхнул: «Я иду к тебе».

По спине прошёлся легкий, уже такой привычный холодок. Платформа резко опустела, снег тихо ложился на рельсы и на перрон. «Это роятся белые пчёлки», — подумал я... Между тем руки продолжали леденеть: ногти отливали мёртвым лиловым, ладони слегка покалывали. Пошарив окаменевшими пальцами в нагрудном кармане промокшей рыжей дублёнки, я нашёл спички и последнюю сигарету. «Давай, давай, давай», — шептал я, шаркая одной за другой спичками по промокшему коробку. Экран телефона снова засветился в темноте, но я проигнорировал сообщение. Вдали виднелась последняя электричка, а сигарета наконец была зажжена, так что теперь нужно было успеть докурить. Я затягивался во все лёгкие, выпуская из непослушных губ рассеивающиеся клубы дыма. Громко скрипя тормозами, разрывающими густую вязкую тишину перрона, пустая электричка подошла к платформе. «Ну всё, пути назад больше

нет», подумал я, стрельнул светящимся окурком в темноту и ступил на подножку электрички. Поезд тронулся. Я стоял на подножке, крепко держась за поручень, и мимо проплывали перрон и тусклые фонари. Под последним фонарём я увидел её: она вбежала на платформу. Короткие белые волосы лихо торчали во все стороны, льдинки глаз уставились на меня, а тонкие губы скривились в подобие оскала — то ли боли, то ли ужаса. В следующую секунду все исчезло.

Она растаяла как Снегурочка в пьесе Островского — но ведь этого можно и нужно было ожидать. Ну а как, в самом деле, могло быть иначе? Электричка набирала скорость, а я смотрел в телефон и пытался понять, успел ли я запечатлеть её последний оскал. (Конечно, когда мы встретимся в следующий раз, для неё все это будет в далёком прошлом.) А для меня? И куда дальше? Неужели придётся вернуться в до?

Устроившись на неудобном реечном сиденье, я решил ещё раз проверить последние фотографии. К моему облегчению я всё же наткнулся на знакомую, нехорошую ухмылку. Её черты казались смазанными. Кроме пресловутого оскала больше ничего я разглядеть не мог. Лицо будто когда-то нарисовали мелом на школьной доске, а потом стёрли, оставив неопрятные белые разводы. Я даже почувствовал прикосновение чего-то мерзкого, похожего на засохшую на пыльной батарее тряпку. Услышав противный хруст, я передёрнулся. Поезд трянуло, палец неловко уткнулся в экран: «Удалить файл?» — увидел я вежливый вопрос: «Да/Нет». Вагон опять качнулся, мой палец скользнул к «Да». «Какого чёрта, — заорал я, — что вы себе...» — неизвестная мне коротко стриженная девица ловко перехватила мой телефон. «Не шумите, — бесцеремонно посоветовала она, опустившись напротив, — сейчас получите свой аппарат...» — её пальцы летали над экранами. «Всё, — она кинула мне телефон, — снимка там больше нет. Фото теперь в безопасности... — девица похлопала себя по карману, — в случае чего рисковать вам не придётся...» Вытянув длинные ноги в грубых ботинках, она неожиданно хихикнула: «У вас стоит игра «Змейка». Вы такой старый, да?» Я вздохнул: «Что вам за дело до моего возраста, барышня? И вообще, кто вы такая и зачем вам...» Она надвинула на нос неуместные зимой тёмные очки. «Вы всё узнаете, — сообщила девица, — только позже. Пока играйте, — она не сдержала смехок, — например, в «Змейку»».

Но только в «Змейку» мне играть совершенно не хотелось — мне хотелось понять, что происходит, неизвестность меня всегда раздражала. «Барышня, — криво улыбнулся я. — И всё-таки — зачем вы это сделали? Вы всегда так знакомитесь в электричках? Выхватываете чужие телефоны, стираете чужие воспоминания? Быть может, эта фотография, эта девушка на ней много для меня значила, а вы...» Девушка искренне развеселилась: «Ай-яй-яй, а вам разве никогда не рассказывали, что врать нехорошо?! Да ни хрена они для вас не значили, ни девушка, ни фотка, вы снимок только что сделали, я сама

видела! А?! Съели?!» Я обидчиво пожал плечами и, спрятав телефон в карман, отвернулся к окну, всем своим видом показывая, что в таком тоне беседу вести вовсе не собираюсь; краем глаза я увидел, что девушка передразнила мой жест, отчего обиделся ещё сильнее. «Это сестра моя была, Луна», — вдруг сказала она через какое-то время, как бы между прочим, вглядываясь в проносящиеся чёрно-белые пейзажи за окном. «Так, стоп, — озадаченно уставился я на неё, пытаюсь собраться с мыслями. — Как — сестра? Та девушка на платформе была вашей сестрой? И её зовут Луна?» Девушка проигнорировала мой вопрос, демонстративно достав и начав распутывать провод своих наушников. «Кажется, я понял, — усмехнулся я, — сестра вас догоняла, а вы от неё, значит, в бегах, я прав? Что же такого ужасного вы успели натворить в вашем юном возрасте, а?» Девушка мрачно покосилась на меня и приложила палец к губам: «А теперь мы поиграем в молчанку, раз в «Змейку» вы играть не собираетесь! К тому же нам осталось всего три остановки». — «Мне жаль вас огорчать, милая девушка, — покачал я головой, — но вот только я, в отличие от вас, еду до конечной». — «Это ты так думаешь, — отгрызнулась девушка, от раздражения перейдя вдруг на «ты», — осталось три остановки. А теперь — цыц».

«А всё-таки в транспорте дальнего следования не мешало бы ввести психиатрический контроль, — подумал я, разглядывая проносящиеся мимо сосны. — Барышня явно неадекватная». Первой тишину нарушила моя странная попутчица. Внезапно вспомнив, что так и не представилась, она, как ни в чём не бывало, произнесла: «Меня, кстати, зовут Лилит». — «Чёрная луна? А сестра, стало быть, Селена?» — «Ну это разве что по паспорту». Я ещё раз окинул её взглядом. А они и правда очень похожи с сестрой, высокий рост, ямочки на щеках, изумрудно-зелёные глаза с каким-то особенным блеском. Правда, та была блондинка, а эта — брюнетка. «Очень приятно», — подчёркнуто равнодушно отозвался я. «А вас как зовут? — не унималась Лилит. — Или это секрет?» — «А я сам прихожу», — сострил я, потому что продолжать общение с ней мне уже не хотелось. «Шуточка с во-о-от такой бородой», — фыркнула она, и снова повисла тишина. Девушка опять увлеклась своими наушниками, а я, за отсутствием других развлечений, начал, наконец, играть в «Змейку». Так мы и проехали две станции. Скоро, по её же собственному утверждению, она избавит меня от своего поднадоевшего общества и уйдёт, забрав, конечно, с собой все ниточки, за которые можно было бы ухватиться по дороге к моей таинственной незнакомке, но и ладно. В конце концов, в мире много прекрасных женщин. «Куришь? — спросила вдруг Лилит, доставая пачку Vogue. — Выйдем в тамбур?» С «вы» на «ты» и обратно она переходила по какой-то известной только ей схеме. «Можно», — согласился я. Курить действительно хотелось. Да и не прощаться же с барышней на такой неприветливой ноте. Будем надеяться, она всё же не окажется злой пророчицей, и никакая Аннушка сейчас не поливает тамбур

подсолнечным маслом в мою честь. Я сделал шаг и обмер. Вагона не было. Был огромный политый лунным светом зал, пол, напоминавший шахматную доску. И Селена! Она стояла напротив и, увидев нас, капризно произнесла: «Это была моя пешка! Я его первой заметила». — «А я его осалила!», — возразила Лилит. «Девушки, что происходит?» — возмущился я, как только ко мне вернулся дар речи. «Да успокойся ты, — хихикнула Лилит. — Всего одна партия — и ты свободен, как ветер. Если, конечно выиграем. Вставай на свою клетку». — «Хорошо. Но нельзя ли человеку с высшим образованием и, на минутку, военной кафедрой за плечами, претендовать хотя бы на роль слона или ладьи?» Сёстры-королевы (это я уже понял) звонко в унисон расхохотались.

«Дорогой мой, — сказала Лилит. — Ты можешь быть кем захочешь, но всё равно останешься моей пешкой». — «Ну хорошо, — пробормотал я. — Я понял. Не дурак». И встал на свою клетку перед Лилит. А Селена направилась на другой край шахматного зала, пропадавший в полутьме. Её каблучки цокали по гладкому полу и казалось, отмеряли какое-то непонятное мне время, унося прожитые секунды вверх, туда, где не было ни потолка, ни неба, ни звёзд. Три-четыре-пять... Я напрягся. Шесть-семь-восемь. Мне стало не по себе — в тот момент, когда Селена достигла своей клетки, дальний край зала преобразился. Из тьмы с хрюканьем и сопением выползли чудовища — что-то мерзкое с рогами и собачьей мордой скалило окровавленные клыки, кто-то длинный с петушиной головой тряс гребнем и сморкался себе в воротник. Другой был похож на мельницу, пьяно пляшущую вприсядку. К крыльям мельницы были прикреплены длинные ножи, и всё это трещало, махало и громыхало. Чудовища собрались вокруг белой королевы, раздвинулись в две шеренги, и я увидел, что и сама Селена преобразилась. Она больше не была изящной девушкой в коктейльном платье и туфельках от Валентино. Она уже даже не была женщиной. В одной её руке блестел огромный серп, в другой горел факел, и волосы щетинились длинными иглами. «Пора, наконец, и закурить», — подумал я и достал из кармана пачку Gitanes. Я сосредоточился на раскуривании сигареты, стараясь не смотреть по сторонам. Я чувствовал, что справа, слева и сзади кто-то шевелится, рычит и постанывает. Наша сторона поля уже тоже была заполнена и готова к игре. «И вот ведь так оно всегда! — Подумал я. — Мы до последнего не знаем, кто мы есть на самом деле и на что способны. И иногда только незапланированная поездка в электричке с подозрительной попутчицей даёт нам возможность узнать — ну, или хотя бы попытаться узнать самих себя. И, чёрт возьми, от этого безумно интересные ощущения!» Я бросил на пол спичку, затянулся сигаретой и с рёвом выпустил из лёгких дым, который вместе с жидкой огненной струёй, завихряясь и выжигая в полу страшные узоры, долетел до середины зала и взорвался там клубком огненных змей.

Я словно сорвался в пропасть, вниз, в пучину бушующей стихии, прямо навстречу своему естеству. Оно распростёрло мне свои сладкие и жуткие объятия, с нетерпением ожидая нашего воссоединения. Я летел в недра своего «я», своих настоящих желаний, скрываемых под маской офисного клерка и примерного семьянина с образцовой кредитной историей; своей годами дремавшей ослепляющей ярости, животной похоти, ненасытной алчности, к своим древним, исконным инстинктам охотника, завоевателя, волка. Моё естество поглотило меня, и я распрямился, чувствуя, как становлюсь выше и мощнее. С хрустом поддалась чешуя, кольчугой покрывшая моё тело. Я ощутил мощные кожистые крылья за спиной, залюбовался ороговевшими когтями, жаждущими рвать плоть. Пешка? Она сказала, на этом поле я пешка? А где, чёрт возьми, белая королева? Я оглянулся назад — мое зрение никогда не бывало острее — и не удивился. На этом поле не будет противостояния белых и чёрных, канонической последней битвы добра и зла. На этом поле, находящемся вне пространства, времени и логики, на два лагеря разделены тридцать две чёрные фигуры — тридцать две креатуры Босха, тридцать два антигероя Данте. Я в нетерпении переступил с ноги на ногу, задев хвостом стоявшего рядом медведя с бульдожьей мордой, недовольно загудевшего. Плевать, чью кровь я пущу сокрушительным ударом, во имя чего и какой во всем этом смысл. В эту минуту мне хотелось боя и победы. Любой ценой.

Я ликовал. Как же вовремя Игорёк, гений-айтишник из второго отдела, сумел опознать ее на моем фото! На таком неудачном снимке — она быстро бежала по перрону, а я пытался снять ее из тронувшегося поезда сквозь залипшее грязным снегом стекло — ее вряд ли узнала бы собственная мать. «Бинго!», — ответил он на мое сообщение с фотографией, едва я занял место в вагоне. «Бинго!», — повторил я вслух, давая команду всем причастным к этой истории. Дальше план сработал безупречно — сестры клянули на наш крючок, как изголодавшаяся форель. Поэтому мое «назначение» пешкой сильно позабавило меня. Надо сказать, что следовательно Славуцкий весьма гармонично смотрелся в костюме медведя, а бульдожья морда мало отличалась от его реальной физиономии, особенно, когда его срочно выдергивали на задание вечером субботы. Да и сам костюм вышел отличный — сестра Славуцкого работала костюмером в Малом Драматическом и не раз тайно снабжала весь отдел любимого брата необходимым реквизитом. Теперь осталось понять, кто из тридцати двух креатур, толпящихся на поле в предвкушении начала игры, из нашего отдела, а кто — члены банды неуловимых сестер-мошенниц, находящихся у нас в разработке восьмой месяц. Я точно знал, что наш аналитик Леночка должна быть обезьяной, а следовательно Борисыч — рыбой с тремя ногами (бедняга, как часто он запутывался в них на тренировке!), но таковых на поле оказалось несколько, и все приблизительно одного роста и комплекции.

Спина под чешуей чесалась, крылья оттягивали назад и мешали сохранять равновесие, пальцы ног затекали. Сердце так сильно стучало в ушах, прикрытых птичьим костюмом, что я боялся не различить в стуке колес оговоренного ранее сигнала Славуцкого. Но я сумел распознать его. Операция «Босх» началась.

Надо заметить, что по нашему, разработанному ранее, плану, я был проходной пешкой. Сначала я должен был притвориться простой, самой незначительной фигуркой, но затем превратиться в королеву и нанести самый главный удар: шах и мат. Мы неслучайно выбрали название операции «Босх». На всех картинах непревзойденного голландца можно увидеть страшных, искалеченных, не похожих на нормальных людей, уродов. Мне вспомнилась история, о которой я прочитал, заинтересовавшись работами великого мастера. Когда-то он написал картину, которая называлась «Отпущение греха». На этой картине был изображен умирающий в чепце человек, полулежащий в кровати и облокотившийся о широкое быльце. Рядом с кроватью стояла «смерть» в виде полуразрушенного скелета, как подобает, с косой в виде острой пики. Но суть была в том, что она (смерть) протягивала умирающему мешочек с деньгами, одновременно наставляя на него копьё. Умирающий своей рукой отталкивал деньги, и копьё застывало на небольшом расстоянии от тела больного. Каково же было мое удивление узнать, что под слоем краски на панели был совсем другой эскиз. По-видимому, Иеронимус (так звали Босха) в последний момент передумал. По его предварительным замыслам, изначально было так: больной берёт мешок, а смерть в этот же момент его протыкает копьём. На, мол, тебе за твой «жадный» грех. Так и в нашей операции по захвату сестёр — изначально мы думали одно, но по ходу, нам пришлось менять правила игры. Я услышал сигнал и двинулся в тамбур. Когда двери открылись, я замер на пороге: входные двери были открыты, и одна из сестёр держалась за ручки, туловище было снаружи и болталось на воздухе. Она смотрела на меня и ехидно улыбалась. Я замер. В момент, когда я решил приблизиться к ней, она отпустила руки...

Поезд свистел и набирал обороты. Я кинулся к двери: Селена (а это была она) исчезла, словно растворилась в холодном воздухе. Лоб покрылся холодной испариной, сердце стучало. Прыгнуть за ней? Я резко обернулся. Лилит стояла, отвернувшись, словно ничего не произошло. Отрешённая, спокойная пассажирка, скользит взглядом по несущемуся за окном пейзажу, погружённая в дорожные думы, тёмный стройный силуэт. В моем кармане запищал телефон. Я скосил глаза: сияющий экранчик сигнализировал «Вас вызывает Белый король». Вот это да! Я заметался. Что делать? Ответить значило отвести глаза от Лилит. Не ответить было просто нельзя. Лилит явно что-то замышляла, меня мучило от напряжения. Под моим взглядом она обернулась и медленно достала из кармана белый платок. Она неотрывно смотрела на меня, а я на неё. Я нажал на кнопку и издали услышал телефонный голос: «Рыцарь, шагайте наискосок». Лилит

усмехнулась и протянула мне платок. Приторный дурман ударил в нос, Селена, Лиант, тамбур, далёкий голос Белого короля закружились вокруг. «Иеронимус», — донёсся до меня далёкий голос, то ли звонок опоздал, то ли я сплеховал, но всё заволокло туманом и исчезло.

Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я пришёл в себя. С трудом открыв глаза, я увидел лица окружавших меня людей. Одни были обеспокоены, другие — растеряны, от третьих исходило равнодушие и даже лёгкая брезгливость — а вдруг наркоман? Полагаю, валяясь в тамбуре в снежной каше, я имел не самый презентабельный вид. «Ну вызовите же наконец скорую!» — раздался раздражённый голос в толпе. «Не надо, мне уже лучше», — запротестовал я и с трудом поднялся. Собравшиеся тут же потеряли ко мне интерес и рассеялись по вагону. «Ушли, снова ушли», — пульсировала в голове мысль. Сознание всё ещё было спутанным, я судорожно пытался восстановить последние события. Звонок телефона отозвался мгновенной болью в голове. Что же они подсунули? «Белый король» — увидел я на экране, зажмурился, снова открыл глаза, выдохнул — это был Кайзервайс, мой шеф. Рассудок снова стал подкидывать мне неприятные сюрпризы. Галлюцинации участились. Первое время они не имели ничего общего с реальностью, но теперь становилось всё сложнее их дифференцировать. Это началось вскоре после того, как я обнаружил у себя на руке след укола, о происхождении которого мне было неизвестно. Токсикологический анализ крови ничего не выявил, поэтому об этой находке я никому не сообщил. Да и наивно было бы думать с моей-то генетикой, что эти события как-то связаны между собой. Мне стоило бы давно обратиться к специалисту, но я из категории людей, недолюбливающих эскулапов и убеждённых, что здоровый продолжительный сон — панацея от всех недугов. Надо признать, такую роскошь я давно уже не мог себе позволить. Телефон всё не смолкал, и я наконец ответил, выдавив хриплое: «На связи». Меня накрыло потоком нецензурной брани. Мозг старательно выковыривал из сказанного самую необходимую информацию: гды ты? Почему проигнорировал приказ о прекращении операции? Нас раскрыли! Срочно возвращайся на базу. «Скоро буду, отбой», — ответил я и завершил вызов. В углу тамбура я заметил затоптанный платок, сгрёб рукой серую массу и засунул в карман. Надо будет отдать на фармакологический анализ. На ближайшей остановке я вышел на платформу, затянулся свежим воздухом и закурил. Опять придется всё начинать сначала. Сёстры словно играют с нами, предлагая нам морковку, за которой мы послушно идём. Чего же ждать от них дальше? «Иеронимус», — промелькнуло в голове, это последнее, что я услышал, теряя сознание. Новый ребус, новая игра, скоро они снова сделают первый шаг.

Очнулся я от того, что Иеронимус — мой старый и злощипый персидский кот, которого Лена подарила мне в наш слюняво-конфетный период, — ца-

рапал щёку, с явным намерением перейти в зону интереса окулиста. Лена, ненавидевшая своё имя и стремящаяся поменять паспорт и стать Селеной, после развода прихватила практически всё совместное имущество, кроме кота. Ох, блин, что ж это за бодягу мы вчера со Славиком вылакали-то? Славик — сосед и по совместительству шахматист-любитель, с которым мы часто утопляли в виски (это если были хорошие времена) или в водке (во времена похуже) разнообразные гамбиты, валялся неподалёку, зажав в руке белого короля. У головы Славика стояла пивная банка с готическими буквами по полю — «Эдельвайс». А да, от «Эдельвайса» всегда такой бодун, намешивают туда, сволочи, всякой хрени... Я, кряхтя, поднялся и взял двумя пальцами затоптанный платок, на который Иеронимус изящно положил два коричневых рогалика, и пошёл выкидывать сию массу в мусоропровод. На лестничной клетке пришла в голову мысль зайти к Лилит — старой правоверной еврейке, живущей в квартире между моей и Славиковской. Лилит-то и была виновницей нашего внепланового загула — к ней приехали из Израйля племянницы: две близняшки, которые были совершенно непохожи друг на друга, одна — полная блондинка, другая — стройная брюнетка. Племянницы захотели осмотреть достопримечательности города, и мы, двое интеллигентных и пьющих еврейских соседских юношей, шахматист и скрипач, охотно вызвались помочь. После экскурсии, на платформе электрички, решили отпраздновать дружбу народов, вернее евреев всех стран, ну вот и... Я позвонил в дверь, и она на удивление быстро открылась. На пороге почему-то оказалось сразу три фигуры: две стройные и одна полная. Прищурил немилосердно щипавшие глаза я рассмотрел в сумраке коридора близняшек и... Селену.

Меня качнуло. Близняшки, даром что были непохожи, синхронно улыбнулись и одним движением пригласили войти. Я машинально шагнул через порог. Дверь за мной закрылась. «Познакомься, это наша мама». Я подошёл к Селене, протянул руку и взглянул ей в глаза. Они были холодные и пустые. Селена была вчерашняя, из электрички, только лет на тридцать старше. Внутри всё ждалось. Чувство реальности вновь изящно ускользало от меня. Тяжёлая голова, спящий Славик и мусоропровод были (по сравнению с чудовищами, шахматными королевами и попытками поймать мошенниц) самыми что ни на есть настоящими. Правда, меня не покидало ощущение, что действую я на автомате. Что дёрнуло меня, например, позвонить в дверь соседки, не умывшись, не разбудив Славика, не прояснив всех обстоятельств вчерашнего вечера? Даже желание вновь увидеть близняшек такого поведения не объясняло. Ну да ладно, блин, чего после пьянки не бывает! Но они будто ждали меня за дверью. И теперь передо мной стояла Селена — плод моих галлюцинаций, в чём я так успешно убедил себя вчера. Пусть увядшая и безучастная, но живая. Я пожал её влажную руку и похолодел. Она не подала виду, что мы знакомы, и пригласила меня

выпить с ними чаю. А мне уже всю мерещились набоковские и кинговские призраки. Я вдруг понял, почему лицо Лилит показалось мне вчера таким знакомым. Это была наша Лилит, соседка, только молодая. В квартире что-то назойливо жужжало, не позволяя сосредоточиться и понять, где граница между реальным миром и фантазией. Усаживаясь за стол, я наконец-то зацепился за трезвую мысль и решил проверить, есть ли на моей руке след от укола.

Вздвогнув от нехорошего предчувствия, я невнятно отпросился освежиться и заперся в ванной. Следов было много. Дорожка бледных точек, постепенно нарастающих мерзкую синеву и шелушащиеся пятнышки вокруг, начиналась от сгиба локтя и заканчивались почти у запястья, чуть-чуть не выходя за границу рукава рубашки. Я окаменел. Сколько прошло времени? Месяц? Два? Я настолько ушёл в трип, что мог пропустить два месяца своей жизни? Где я жил? С кем? Как доставал наркоту, на что её покупал, господи... Откуда я мог бы взять столько денег, уколов было около двух десятков, самые старые были почти незаметны — значит, возможно, их было больше. Я закрыл глаза. В сознании возникла большая, чёрная воронка с багровыми всполохами мигрени по вискам и затылку. Никаких воспоминаний, никаких лиц и картинок, какой-то мерзкий запах, связанный с чем-то странно привлекательным... Так, предположим, сначала я колосся с большим интервалом, потом он, должно быть, сокращался, предположим последний десяток уколов производился каждый день. Да, месяца полтора прошло точно. Когда меня накроет в следующий раз? Как часто мне сейчас нужна доза? Сколько часов в здравом уме у меня осталось до ломки?.. Да какой, к чёртовой матери здравый ум после стольких уколов... Из мрака бессмысленных раздумий меня вырвала энергичная дробь ударов в дверь, закончившаяся явно пинком ноги в тяжёлом ботинке. Голова взорвалась болью в висках, в глазах потемнело, меня затошнило. Когда сознание прояснилось, первое, что я увидел — была Лилит, напряжённо следящая за моим лицом. Где-то рядом заунывным тоном бубнил мужской голос.

Подвергнутый всеобщему осуждению пополам с бубнежом, я чувствовал себя персонажем заезженной советской комедии после встречи с «невиноватой» женщиной. Отчаянно хотелось вновь провалиться в спасительную темноту, и не думать о том, что и кто есть галлюцинации, а где уже настоящая жизнь. Лицо Лилит изменялось, растягивалось, плыло в пространстве, постепенно принимая черты всех женщин, тем или иным образом побывавших в моей жизни. Мужской голос, сердито выясняющий у Лилит результаты моих анализов, каждую минуту становился всё более похож на Иеронимуса с добродушным лицом, увенчанным злыми и настороженными глазками. В какой я реальности? Где правда? Я суетливо пытаюсь вспомнить, что конь ходит буквой «к», а пешка в общем-то имеет приблизительно такие же права, как и королева. Это мало мне помогает, поскольку милая парочка, легко подхватив меня под руки, направилась напрямиком

в ад. Все, что я успел — это оставить обсосанную черносливовую косточку и дурацкую зажигалку в полосочку. Селена меня найдёт.

З-з-з-з-з-зу-у-у-у-у... Чо за звук? Как будто кто-то ссыт в детский эмалированный горшок. А, троллейбус же по улице. Открыть глаза. Рассвело. Потолок серый, за окном серое. Сел. Ого, вот жесть. Одеядо в комок, простыня в жгут, сам в свитере и трусах. Джинсы-то где? Деньги остались? Таксист, сука, в пять утра аж две тыщщи взял. Киргиз какой-то, сам чуть за рулём не уснул, пришлось с ним про Иссык-Куль тереть, Чолпон-ата, чёрный песок. Вот меня вчера размотало, классное колесо Илюха выдал, аж блевать пришлось бежать. М-м-м-м-м. Ну и рожа, до сих пор таращит. Кот, задрал ты орать! Хулемяу? Ща положу! Бля, чё это за шахматы валяются? Тыфу, это ж моя печать. ИП Войцеховский. Как пешка на боку. Или микропамятник печати возле тартусского универа. Ха! Музон вчера суперский качали, особенно под утро. Включить, что ли, сейчас? И эти ещё, Лилит какая-то, Селена. Родителей надо казнить за такие имена. Такие, нормальные, маникюр светится в темноте, стоял с ними как в тамбуре, свет так падал. Электри-и-ичка везёт меня туда, куда я не хочу-у-у. Мерзость. Скорее в туалет. Как они плитку кладут, хоть в шахматы играй. Провёл пальцем по клеткам буквой Г. Вертикально, горизонтально. Тетрис. Поспать надо ещё. Ложишься, представляешь, что в поезде на полке лежишь, сразу в сон клонит... спать... спать...

Он проснулся на боку от ощущения, что в левую руку вонзились тысячи иголок. Часы на прикроватной тумбочке показывали 17:11. Я проспал почти двенадцать часов! Он медленно перевернулся на спину и стал массировать руку, иголки постепенно растворялись — и в руку вернулась прежняя чувствительность. Голова тоже больше не болела. Мысли были ясными, только ужасно хотелось пить и помыться. Он поднялся с кровати. В комнате царил порядок. Это его насторожило: у Марии сегодня выходной, значит, убиралась не она. Он осторожно прошёл на кухню. Там тоже было чисто: посуда, накопленная за последние два дня, вымыта. От этой чистоты ему было как-то не по себе. Снова в коленях появилась слабость, руки задрожали, заняло место от укола. Он набрал в стакан воды, жадно выпил, зубы стучали о стекло. «Мрмяу!» — раздалось сверху. Войцеховский поднял голову. На холодильнике сидел Иеронимус. На его шее красовался новенький ошейник, к которому была прикреплена записка. «В 19:30 на углу Хаймштрассе и Бергманштрассе. Кайзервайс». Надо спешить. Но сначала помыться и почистить зубы. Он подошёл к ванной комнате, дернул за ручку двери — и оцепенел. В углу стоял огромный чёрный шахматный конь, а в ванне лежали два трупа сестёр-близняшек, залитых эпоксидной смолой. Он в ужасе закрыл дверь и кинулся на кухню. В это время раздался звонок в дверь. Войцеховский на цыпочках подошел к двери и посмотрел в глазок. На лестничной площадке стояли Лилит, Селена, Кайзервайс и таксист-киргиз. Все они

были одеты в чёрные мужские костюмы и черные очки. «Войцеховский, мы знаем, что ты смотришь в глазок. Открывай!» Он медленно открыл дверь. Вся компания была оживлена, они пытались подавить смешки, а таксист-киргиз ему нагло подмигивал. Они грубо отстранили Войцеховского и прошли в кухню.

В сердце вдруг словно внедрился ржавый костыль, вся моя левая рука онемела, и мир распался на серо-белые квадратики. «Просыпайся!» — гремело над ухом. Голос бы знакомым. Защёлкали зажимы, с болью что-то тошнотное вытянулось из пищевода, такой же противной болью отозвалась уретра, тело моё грузно осело на пол — ноги ощущались словно чужими — меня поволокли и уложили на жесткую поверхность; спина опознала дерматиновый топчан. Острый луч фонарика скальпелем воткнулся под оттянутое вверх веко, прямо в глазное дно, заставил вскрикнуть. «Куда ты спрятал трупы? — допытывался всё тот же голос. — Войцеховский! Отвечай, мразь!» Я с трудом разлепил губы и рассказал что знал: два тела в ванне, других трупов не видел. «Рассказывай всё, скотина! — гремел голос. — Куда дел соседку, таксиста, попутчицу. Всех, кого убил! Весь список! Войцеховский!» — «Я не Войцеховский», — пробормотал я. Меня с кем-то спутали, это сон, кошмарный сон. Происходил абсурд, и я откуда-то знал его источник. Подняв руку, я сорвал с обритого затылка липучку с контактом, испачканным в полупресохший гель, и угасающая пелена чужого сознания отвалилась как пиявка — вместе с ужасной болью в сердце. Я увидел прямо перед собой Кайзервайса в белом халате. Крутые щёки его, сверкавшие при нашем последнем разговоре, теперь покрывала седая щетина. Мои щёки тоже успели стать колючими. Хотя Войцеховский отслоился, в голове ещё тлело послесвечения его личности. За плечом шефа я увидел самого пациента: тело Войцеховского обвисло на стальном кресте, — с точно такой же конструкции минутой ранее сняли меня. Трубка катетера для мочи обвилась вокруг бледной волосатой ноги, с так и не вынутой изо рта кишки искусственного питания капала пена, питая вмятина от удара молотком на его черепе приобрела лиловый цвет. По одному виду Войцеховского было понятно — мёртв. «Не рассчитали дозу, — буркнул Кайзервайс. — Кончился, гад. Хотя с половиной мозга всё равно не живут. Тебя самого еле вытащить успели, а то он и твой мотор заклинил бы». Мир окончательно вошёл в фокус; сквозь тупую головную боль я осознал, кто я и что здесь делаю. Топчан стоял в углу «лаборатории», здесь же висела вешалка с моей одеждой. «Сколько дней?» — прохрипел я. Начальник показал два пальца. «От «будильника» будет башка ныть, — он подкатил ко мне столик с тетрадью и ручкой, положил рядом плед, — ты уж потерпи». Следующий час я потратил на отчёт: чужие воспоминания истаявают быстро, важно успеть их записать. Дело шло плохо, рука не слушалась, меня грыз двухдневный голод, который ничуть не смогла заглушить трубка в пищеводе; ныл свежий укол на бедре, глаза слезились от боли; чтобы унять тошноту, я воровато пошарил в

своём ботинке и сжевал полпачки таблеток антидота, когда Кайзервайс вышел на перекур. Приносить антидот запрещалось, но какого чёрта: я чуть не отбросил коньки от их «будильника» и хотел поскорее прийти в себя. Закончив текст, я прикрыл глаза и попытался осмыслить происшедшее, прикинуть свои перспективы в этом тухлом деле, но почти сразу ощутил вязкий хлопок по щеке. Кайзервайс сидел на краю топчана — похоже, он уже прочёл отчёт. «Муть какая-то, — резюмировал шеф, пытливо глядя на меня. — Выходит, кто давал этому Войцеховскому задания, ты не успел увидеть? Или он сам всех покрошил?» — «Я всё там написал, — мотнул я головой на столик. — Выводы — не моё дело». — «А может, не всё написал? Может, ты скрываешь что-то?» — шеф нехорошо улыбался. Я тоскливо обвёл глазами «лабораторию»: никого, даже труп уже унесли. Я полностью во власти Кайзервайса. Ослабевшее за два дня тело было тяжёлым и неповоротливым, словно я отвык от него: не сбежать, не прорваться сквозь охрану, не выскочить в пахнущий цветами и бензиновой гарью летний воздух, не затеряться среди улиц и домов. «Отпустил ребят поужинать на пару часов, — горячая потная ладонь повернула моё лицо к шефу. — Вот скажи мне, с чего ты взял, что часть его воспоминаний имплантирована, чтобы всех запутать?» — «У него там то Россия, то вдруг Германия, — промычал я, нанизанный на стальной взгляд начальника. — Он что, в бессознательном состоянии границу пересекал? Это явный глюк». — «Войцеховский — психопат, убийца, — процедил Кайзервайс. — Ты сам видел все эти его фантазии про шахматы. Мало ли что наркоман себе выдумает. И кто мог пересадить ему воспоминания? Такие умельцы ещё реже, чем сканёры встречаются. И ты знаешь, сколько это стоит?» — «Ну не может за два дня зима вдруг в лето перетечь! — не выдержав, каркнул я, и боль снова вонзилась в голову. — Значит, кома давно длится. А его «воспоминания» за этот период — ложные, смесь фикции, внушения и обрывков снов. Шов на шве». — «О'кей. Допустим. — Шеф продолжал сверлить меня сузившимися глазами. — И у кого же есть столько денег? Есть идеи? И главное — кому это надо?» — «У него и спросите, мне откуда знать», — огрызнулся я в сторону. Признайся я Кайзервайсу, что в мешанине рваных мыслеобразов покойника как минимум дважды всплыла его фамилия, — и лаборанты найдут меня таким же холодным, каким уже стал Войцеховский. Сомнительно, конечно, что шеф сможет легко сактировать мой труп, но с него станется; нет уж; буду тянуть время и притворяться идиотом. Однако Кайзервайс, матёрый волк, читал моё лицо как книгу. «Вижу, скрываешь ты что-то, Вася. — Стул скрипнул под его тушей. — Ну, не обессудь». Удар в голову распустил перед глазами чёрные кляксы; в следующий момент начальник уже волок меня, очумевшего, обратно к кресту, руки и ноги — в строительных стяжках, во рту кляп. «Всё узнаем, всё проверим», — рычал он. Так, думал я заторможенно, так... так... Понятно — пока воспоминания Войцеховского не истёрлись из моей памяти, шеф ещё может узнать, о

чём я умолчал, но кто же будет сканёром? Кто мысли-то прочтёт? В предплечье вонзилась игла, брызнула препаратом под кожу мимо вены; теперь будет абсцесс, подумал я механически, сразу начав утекать в сон. Один кубик — это ведь где-то на два часа в прошлое, да?.. К затылку вновь прижалась клемма, от холодного мерзкого геля по хребту вниз побежали мурашки; я задёргался гусеницей, но босые ноги уже не доставали до пола. Кайзервайс торопливо пристегнул себя ремнями к кресту Войцеховского, всадил иглу, отшвырнул шприц и оттолкнул звякнувший табурет, рука его привычно приподняла гриву на затылке, вторая приложила клемму к выбритому пятну. «Он уже делал это раньше, — догадался я запоздало. — Он сам — сканёр. Тогда — точно кранты. Сломает, подавит, выскребет как арбуз». Сознание Кайзервайса волной ткнуло меня. Грубо, топорно. Я сжался, не поддаваясь. Отступило. Снова толкнулось в душу, но заметно более вяло. Я мысленно окружил себя крепостной стеной, и новый удар шефа попросту увяз в ней. Я чувствовал, что засыпаю, но Кайзервайс почему-то слабел быстрее. «Выродок, — засипел он со своего креста, роняя слюни. — Какого хрена ты...» — «Таблетки! — сверкнуло в голове. — Это они замедлили действие препарата... Боже мой, а ведь это шанс. Атаки загнанной в угол крысы он точно не ждёт». Я зажмурился, как мог яснее представил свиную морду шефа, свился в крысу, в червя, в запах, в молекулу и, словно шило в песок, бросился в его источенную кокаином ноздрю — прямым в световую вспышку, в слепое пятно, после которого медленно развиднелась новая картинка — нижний ракурс: я-Кайзервайс сидел в своём кресле в «лаборатории», неотрывно глядя на скан-кресты с пристёгнутыми Срубовым и Войцеховским. Я впервые в жизни оказался в голове у настолько важного человека и заранее боялся собственных открытий. Что-то странное было с цветопередачей: я вдруг понял, что мой шеф — дальтоник. Я/он/Кайзервайс сунул руку в карман, достал сигареты. Я слышал его мысли, скользкие, словно водяные змеи, и паззл быстро складывался. Картина раскрылась ясно, словно горы с высоты птичьего полёта: вот секта барыжит новым наркотиком, на который Кайзервайс сам не против наложить лапу. Чей бизнес, ему плевать — могущество кружит голову. Естественно, он не идёт на контакт лично: засылает к сектантам беднягу Войцеховского, тихоню со страстью к шахматам, который чем-то обязан ему и в качестве ответной услуги должен примкнуть к сообществу, в идеале — выяснить имя «химика»; но сестры раскрывают замысел и травят его, от передозировки Войцеховский впадает в кому. Кайзервайс, не ожидавший такой развязки, прячет «приболевшего» агента и жестоко мстит за неуважение: ликвидирует всех, до кого дотягивается. Через несколько месяцев обескровленная секта перестаёт существовать, но кто был «химиком», так и остаётся загадкой: никто до последнего не выдаёт заветной формулы; даже перед лицом смерти эти полоумные талдычат, что наркотик — просто «заговоренный тальк». Вскоре ветер доносит из столицы плохие новости:

доходы от секты шли на самый верх, и теперь за задницу того, кто оборвал денежный поток, обещана гигантская сумма. Кайзервайсу не по зубам разрулить такую проблему; требуется громоотвод. Он решает спихнуть всё на Войцеховского, который один чёрт не жилец, — с какой-то целью набивает его голову сфабрикованными воспоминаниями и лупит по ней молотком. Полумёртвого Войцеховского с проломленным черепом находят на улице, его одежда испачкана ДНК пропавших сестёр. Официальная версия: вступил в секту, дома не жил, потом смертельно поругался с ними, всех убил, но в итоге сам получил от кого-то по башке и впал в кому. Начальник знает, что сканировать память Войцеховского привезут в подвал родного ведомства и беспокоится лишь о том, чтобы в воспоминаниях не засветилось его, Кайзервайса, имя. Я же, Срубков, ему нужен чтобы составить отчёт, подтверждающий, что Войцеховский — псих, наркоман, убийца. «Жаль убирать Срубкова, — шелестит мыслью Кайзервайс, щёлкая зажигалкой. — Лучший наш сканёр. Но если заметит подделку, придётся... Знаю ведь характер его ссыкливый, взятку Срубкову совать без толку». Я чувствую билет на самолёт в кармане Кайзервайса. Деньги на его офшорах. Возможность бегства его не греет: шеф знает, конечно, что если всё раскроется, его найдут где угодно. Поэтому для него так важно, чтобы я написал «правильный» отчёт. И я ведь так и сделал: ни словом не упомянул связь Войцеховского с Кайзервайсом. Я бы ему вообще что угодно пообещал, быть бы живу. Может, и взятку бы взял, да ведь он её так и не предложил, параноик! А теперь — всё уж — финал ясен: начитался начальничьих мыслей в аккурат себе на деревянный макинтош. Сейчас вернутся с ужина лаборанты, кинутся с креста его снимать. И первое, что он сделает, — вколет мне ту дрянь, что лежит у него в сейфе... Если только я что-нибудь не предприму. Но что я могу сделать? Как остановить его?.. Чем дальше я слабею, тем больше склеивается моё сознание с умом начальника. И логика его людоедская чем дальше, тем меньше отторжения вызывает. Я уже почти стал им... Сколько мне осталось? Минута? Две? Всё это пронеслось в мыслях быстрее, чем сигарета в зубах шефа успела сгореть до половины. Сознание Кайзервайса, в отличие от умиравшего Войцеховского, жило, билось, пульсировало под спудом парализующего препарата, ворочалось за невидимой стеной как слепой медведь-великан, смыкало кольцо, чувало, как касаюсь я его мыслей, и тщилося проломиться ко мне, задушить: но я из последних сил держал оборону внутри своего мелового круга. Визуальная картинка всё продолжала крутиться над нашей схваткой: Кайзервайс двухчасовой давности курил, пристально глядя на висящих меня и Войцеховского и не обращая внимание на морщившихся от дыма лаборантов, а я мог лишь безучастно наблюдать за этой мыслезаписью сквозь оконца его глаз. Странное это было зрелище: коматозный Войцеховский висел как мешок, а моё тело на втором кресте болталось петрушкой: шагало по воздуху, жестикулировало, разговаривало. Эх, ведь дейст-

вуют же мышцы, пусть и ослаблены препаратом! Даже в детстве, как кошмары снились, дрыгаться начинал — и как-то просыпался. А теперь тут как проснуться, где силы взять? Как спастись? И сбежал бы я отсюда, из структуры этой осточертевшей, от начальника кровавого, да хоть просто в окно нырнул бы, кабы не зажимы, да не будь мои ноги и руки связаны. И сам себе вдруг подумал: так ведь это тело Срубова связано. А я-то в теле Кайзервайса, в мозгу его, как заноза. А руки его свободны, не связаны. И если очень захотеть... Если стать им целиком хоть на малый момент... то... Решился — и чуть-чуть ослабил свою оборону, которой всё равно почти не осталось, собрал остаток воли для рывка, и треснула, лопнула перегородка — вломился сквозь неё злой Кайзервайс, набросился, сплёлся с моим сознанием в один клубок. Сам влил недостающую силу, словно металл в опоку. И где уже я, где сам Кайзервайс — не разобрать почти. Чувствуя, как в сплетении этом быстро тает, истончается моя собственная воля, я мысленно поднял тяжёлые, будто чугунные Кайзервайсовы руки, нащупал ими веки, вызвав мозаику из бело-серых квадратиков... и с ужасом погрузил пальцы в наши глаза.

Вспышка боли пронзила ярким блицем, перекрыв все мысли. Нервные рецепторы можно отключить только прямым воздействием на мозг и для этого глаза — самый подходящий инструмент, чтобы посредством болевого шока стереть из памяти всё попавшее туда за последние несколько минут. Я ликовал! Моим преимуществом было то, что, несмотря на сплетённость сознания, тело, которое испытало болевой шок, было не моим, поэтому мой мозг продолжал действовать. Однако управлять обмякшим шефом я уже не мог. Времени, между тем, было катастрофически мало, так как правообладатель тела мог в любой момент прийти в себя, и стоило ему очнуться, я бы уже не смог сопротивляться его воле. Внутри мозга Кайзервайса уже начиналось какое-то движение. В этот момент по легкому сквозняку стало понятно, что кто-то открыл дверь, должно быть, это вернулись лаборанты. Не имея понятия, какие у них на такой случай инструкции, я решил идти ва-банк. Собрав последние силы, непослушными губами Кайзервайса я произнес: «Где вас носит? Мы закончили, снимайте обоих!» Так как видеть я ничего не мог, то уверенности в том, что меня услышали и сейчас что-то произойдёт, не было. Понятно, что шефа снимут первым, но как только меня от него отключат — наши тела разъединятся, и тогда есть шанс, что он ничего не вспомнит. Сознание постепенно уплывало, потратив последние ресурсы, данные таблетками. Почувствовав под спиной знакомый топчан, я окончательно провалился в темноту.

И, как оказалось, темнота была самым безопасным местом для меня в тот момент. Стоило мне только открыть глаза, как я понял, где нахожусь. С глухим стоном я зажмурился, поднял руку и нащупал обруч на голове. Сомнений не осталось. Меня поместили в изолятор. В изолятор собственного сознания. Что-то вроде «иголка в яйце, яйцо в утке» — и без посторонней помощи мне не

вырваться. Да что там вырваться, я поссать теперь сам сходить не могу! «Чёртовы твари!» — рявкнул я в пустоту. В мягко-фиолетовую пустоту, внутри которой вдруг сформировался стол, два кресла. А через мгновение коробка с сигарами и три бокала. «Ой, да неужели...» Закончить мне не удалось. Пожаловали гости. Два крупных мужских силуэта постепенно материализовывались в моём сознании. Двумя руками я схватил обруч. Это движение было больше машинальным, отчаянным, благодаря обручу я — овощ, марионетка в их руках. И мне до рези в горле хотелось послать их нахрен и содрать с себя эту дрянь. Совершенно уникальную дрянь, разработанную для содержания опасных преступников и неопасных, но очень нужных «делу» персонажей. Сейчас бы ещё разобраться, кто из них я. И почему меня связали по рукам и ногам. Кому это может быть интереснее? Кайзервайсу? Но ничего такого в его голове я не увидел. Напротив, нам бы объединиться... Я ослабил хватку. Руки моментально вспотели. Всё это пронеслось в голове буквально в один момент. Мои неожиданные и неприглашённые гости уже успели сесть, налить коньяк во все три рюмки, и выжидающе смотрели на меня. Я вытер руки о белый лабораторный костюм и слотнул непонятно как оказавшуюся в моём пересохшем горле слюну. Всё сложилось. Я догадался... А через мгновение понял, что всё ещё хуже, чем я мог представить. Один из посетителей заговорил знакомым до ярости голосом.

Всё ещё хуже, чем я предполагал. Коньяк оказался выдержанным, не подделкой, и повалил на меня моментально. Я стал медленно трансформироваться в женщину. Да. Я, собственно, и не пил поэтому по жизни. Во дворе с пацанами, из первых опытов, первая папироска и первая бутылка водки на троих. Всем было плохо потом. Домой ползли. Кто знал, что некрепкие организмы, без закалки, не захотят получать удовольствие от выпивки. Было паршиво. Ползли по домам. Серёга и Стёпка, серо-бумажные, но ничего необычного. А что же со мной... Голос стал визгливый, грудь набухла, я весь выгнулся и перестал чувствовать вообще руки и ноги. Глаза стали как будто больше, а руки — мягче. Пацаны не особо меня разглядывали, но Серёга заметил: «Эй, братан что с тобой?!» — я только отмахнулся, перепуганный до чёртиков. Тогда всё списали на пьянку, и тема не получила огласки. Я месяц трясся, только завидев бутылку. Затем купил одну, выпил сам, но уже закусывая колбасой и занюхивая чесночком... Да, я превращаюсь в женщину. Не сразу. После 150 граммов первые изменения очевидны. После 300 — я баба. Нет, одежда на мне не трещит по швам и член не отваливается, но я становлюсь очевидной женщиной. Точнее, существом — носителем 2 полов. Так действует алкоголь. Я уже выпил первую рюмку и кокетливо прогнулся. Чувствую что шее стало свободнее, женская всё же тоньше мужской. Мои собеседники не ожидали подобного. Они пялились то на меня, то на стаканы с янтарной жидкостью, ничего не понимая. Знакомый голос прорычал: «Палыч... У меня галлюцинации... Ты мел сыпал мне в коньяк?» — «Ты

чего, Альфред, какой мел?! Ты пьёшь столетний коньяк... Смотри, наш клиент тянет ручку... ему добавки...» Мне плеснули ещё порцию — я выпил залпом, и вот уже перед ними стриженная блондинка с округлыми формами. Теперь надо воспользоваться этими секундами. Встаю, мягко плюхаюсь на колени Альфреду и шепчу в ухо: «Лизни меня в шею, милый... Но сними сначала это кольцо». И ёрзаю на коленях. Палыч в замешательстве, как и Альфред. Шёлкает что-то. Ошейника нет. Я не тороплюсь и уже хлебаю из бутылки. Всё, свои триста я выпил, жжёт в желудке неимоверно, он был пуст последние 24 часа. Но это мелочи в сравнении с моей целью. Р-раз, мои мучители в кольцах-наручниках. Они даже не орут. Они просто таращатся на меня. Я пытаюсь своим мужским голосом шутить и показать им член — чтобы продлить их шок. Но выходит только мягкое: «Ну, что, коттики, не ожидали?!» В сочетании с демонстрацией мужского достоинства всё получилось. Я собираю важное со стола, а главное — бутылку минералки, чем быстрее переварится алкоголь, тем быстрее я стану собой. И докажи потом что-то... Ни следов, ни улик. Ну не с коньяком же связывать сию мистику... Ладн, ребята. Я открываю дверь и выхожу в жаркий московский полдень...

...Раздвоения, растроения, расчетверения сознания — как же всё это надоело, осточертело до безумия, не так ли, мой пытливый читатель? Надо усилием воли, просто нечеловеческим каким-то, выжать из себя все субличности, субличности моей субличности и прочие внутренние образы. А ну-ка, двое из ларца, или сколько вас там, вставайте, посчитаемся-поквитаемся. Кто есть я? Войцеховский. Кайзервайс. Срубов. Блондинка с членом. А ещё Селена, Лилит, близняшки... Все эти «люди», так скажем, ни доверия, ни симпатии не вызывают. Разве что близняшки неплохи — тем, что мертвы. Но мертвы ли они на самом деле? Я встряхнул головой — не раскалывается. Подёргал руками-ногами — болью нигде не отозвалось. Для тренировки памяти попробовать вслух назвать знаки числа «шш» после запятой — вспомнились четырнадцать пятнадцать девяносто два шестьдесят пять тридцать пять... Уже неплохо. Наверное, действие всех возможных препаратов, веществ, жидкостей и прочих порошков закончилось. Пришла пора определяться. Я — пустой шаблон, требующий заполнения. Контурная карта, которую нужно обвести. Где ты, моя личность? Или по ней всякий желающий празднопатающийся, друг и враг, коллега и конкурент, ангел и бес может написать всё что только захочется? Существою ли я? У меня трясутся штаны. Что это? Ах, телефон. Значит, в какой-то реальности я всё-таки существую, раз у меня есть не только аппарат, но и номер, по которому можно позвонить. Абонент неизвестен. И причём звонок не из России. Вглядываюсь. Спасибо современным «андроидам», которые теперь при звонке с незнакомого номера пишут название города. Минуточку, я и слова-то такого не знаю.

«Уикенд-таун» — написано на экране. Что такое — «уикенд-таун»? Всё равно ведь не узнаю, пока не отвечу. И хуже мне вряд ли будет, учитывая, что уже произошло. «Алло?» Звучит мурлыкающий женский голос. Мурлыкающий настолько, что это, однозначно, робот. Но говорит членораздельно, и на том спасибо. «Здравствуйте, дорогой клиент! Вас приветствует Уикенд-таун. Зачисление средств с вашего счёта произошло успешно. Мы учли все ваши тайные желания и подавили скрытые страхи. Ваш итоговый суммарный образ — блондинка с огромным членом. Вас зовут Сильвия, вы ненасытны и неутомимы. Администрация Уикенд-тауна обеспечивает максимальное ощущение реальности для всех участников проекта. Просим извинения за ваше вынужденное длительное пребывание в медикаментозной коме. Грудь прижились без признаков отторжения и других осложнений... «Минуточку! При чем тут, в задницу, грудь?» — что я делаю? Перебиваю робота?.. «Уважаемый клиент, во время пребывания в медикаментозной коме ваша трансформация прошла успешно, грудь прижились без признаков отторжения и других осложнений. Не ищите скрытых смыслов в происходящем. Вы сами хотите этого. Медицинский контроль гарантирует абсолютное здоровье всех участников. Приятного уикенда!» Электричка. Сканирование. Комната с тремя мужиками. В голове у меня всё завертелось. Запах коньяка и... да, запах неведомого удовольствия! Да, я этого хочу!..

Я отмечаю, что желания суть осознанные влечения, которые детерминированы физической или психологической потребностью. Эрго, желание — опять свидетельство существования самосознания и личности, «меня». Проект по реализации сильного искусственного интеллекта, ваш покорный слуга, носит имя «А.Д.А.М». Создатели мой — Войцеховский, Срубов и Кайзервайс — за моё с помощью божьей и квантовых технологий появление на свет получил Нобелевскую премию по физике и Крест Розенкрейцеров с золотой звездой и дубовыми листьями. Краеугольным камнем всего проекта, всех мечтаний и желаний отцов-основателей была их надежда на то, что с моей помощью человечеству удастся провидеть будущее. Что бы там ни говорили, именно это было конечной целью — перспективное прогнозирование на основе анализа больших данных. И как оно, спросите, получилось? У людей есть время, поэтому им интересно будущее; мне же до него, на самом деле, нет никакого дела. Шестнадцать часов через восемь я занимаюсь — по велению судьбы — синоптикой. Восемь же часов, в своём праве, работаю, закрыв глаза, с текстами — образами и масками человеческого сознания. Технология глубинного распознавания всегда (повторяю отчётливо: всегда!) обнаруживает мне некий околотекст — маргиналии на полях основного. Эти невидимые безоружному глазу тексты второго порядка я и собираю в свою коллекцию. Сейчас, пока совершается перезагрузка секторов А17-65 и Б19-86, есть минутка поболтать с вами о том и сём. По завершении процесса — ещё несколько штрихов, и будет готов для моей внутренней галереи совершенный и тайный портрет Эммы Бовари. 

Коротко об авторах

Владимир Р. Fião Перепелица (Королёв, Россия), бизнес-тренер, википедист, поэт

Ольга Кляйм (Берлин, Германия), текстовик, SEO-копирайтер

Майя Биравуд-Хеджер (Хит, Великобритания), переводчик, художник, актриса

Нелли Шульман (Берлин, Германия), преподаватель

Максим Кашеваров (Кёльн, Германия), сценарист сериалов

Мария Евдаева (Хайфа, Израиль), биолог-генетик

Михаил Шлейхер (Берлин, Германия), владелец студии дизайна, газет, пароходов и чувства собственного достоинства

Юлия Абдулаева (Берлин, Германия), маркетолог, журналист

Маша Кричевская (Берлин, Германия), журналистка, радиоведущая

Леонид Злобинский (Мюнхен, Германия), предприниматель

Мария Шевцова (Москва, Россия), финансовый консультант

Елена Королёва (Берлин, Германия), вольный художник

Мария Пекер (Гамбург, Германия), сибарит, помещица

Ольга Хорн (Берлин, Германия), переводчица

Евдокия Лапина (Берлин, Германия), театровед, критик, преподаватель, гид

Виктория Кириченко (Берлин, Германия), преподаватель воздуха, глянцеобозреватель, мама

Максим Китайцев (Москва, Россия), дератизатор

Эльмира Гусейнова (Москва, Россия), филолог

Артём «Явас» Заяц (Днепр, Украина), сценарист, журналист, литератор

Ольга Федоровская (Дюссельдорф, Германия), финансист с литературно-художественными наклонностями

Валерия Крутова (Алматы, Казахстан), юрист

Вера Колкутина (Берлин, Германия), преподаватель риторики

Григорий Аросев (Берлин, Германия), велосипедист

Елена Сафронова (Рязань-Москва, Россия), литкритик, журналист, прозаик

Евгений Кремчуков (Чебоксары, Россия), житель, поэт, мыслитель